

Наслаждайтесь, читая этот роман. EVENING STANDARD

ДЖОН ИРВИНГ

Лучший роман Ирвинга
со времен
«Мира глазами Гарпа».

TIME

МУЖЧИНЫ НЕ ЕЕ ЖИЗНИ

18+

Джон Ирвинг

Мужчины не ее жизни

«Азбука-Аттикус»

1998

Ирвинг Д.

Мужчины не ее жизни / Д. Ирвинг — «Азбука-Аттикус», 1998

ISBN 978-5-389-08437-7

Несомненный классик современной литературы Запада и один из ее неоспоримых лидеров ввергает читателя в зеркальный лабиринт отражений: страхи из детских книжек некогда популярного писателя Теда Коула неожиданно обрастают плотью, и вот уже монстр из сказки превращается в реального маньяка-убийцу, чтобы почти через сорок лет дочь писателя, тоже писательница, собирая материал для романа, сделалась свидетельницей его жестокого преступления. Но в первую очередь роман Ирвинга о любви. Атмосфера сгущенной чувственности, любви без берегов и ограничений наполняет его страницы некой магнетической силой, превращая читателя в участника волшебного действия.

ISBN 978-5-389-08437-7

© Ирвинг Д., 1998
© Азбука-Аттикус, 1998

Содержание

Благодарности	6
I	7
Ничего не прикрывающий колпак	7
Летняя работа	10
Шум – словно кто-то старается не шуметь	13
Несчастные матери	19
Марион, ожидание	23
Эдди скучает и возбуждается	27
Дверь в полу	31
Мастурбационная машина	40
Входите сюда...	49
Пешка	57
Правый глаз Рут	63
Миссис Вон отправляется на помойку	68
Какие могут быть поводы для паники в десять утра?	76
Как секретарь писателя стал писателем	84
Почти библейская мудрость	89
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Джон Ирвинг

Мужчины не ее жизни

История любви, посвящается Джанет

«...Касательно же этой маленькой дамочки, то лучшее, что я могу ей пожелать, – это немного несчастья».

Уильям Мейкпис Теккерей

John Irving

A WIDOW FOR ONE YEAR

Copyright © 1998 by Garp Enterprises, Ltd

All rights reserved

© Г. Крылов, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство Иностранка®

Благодарности

В течение тех четырех лет, что я писал этот роман, мне неоднократно приходилось совершать наезды в Амстердам, о которых я вспоминаю с удовольствием. Особую признательность за терпение и щедрость я должен выразить бригадиру Юпу де Гроту из Второго полицейского участка – без советов Юпа эта книга никогда не была бы написана. Я благодарен также за помощь Марго Альварес, ранее участвовавшей в работе «De Rode Draad»¹ – организации, борющейся за права проституток в Амстердаме. И более всего – за время и внимание, которые он отдал этой рукописи, – я хочу поблагодарить Роберта Амерлана, моего нидерландского издателя. Если говорить об амстердамской части моего романа, то я должен выразить этим трем амстердамцам огромную благодарность. Если мне удалось что-то передать правильно, то лишь благодаря этим людям, если же в романе есть какие-то ошибки, то вина за это лежит исключительно на мне.

Что же касается тех частей, действие которых происходит не в Амстердаме, то я полагался на опыт Анны фон Планта из Женевы, Анны Фрейер из Парижа, Рут Гейгер из Цюриха, Харви Лумиса из Сагапонака и Алисон Гордон из Торонто. Я должен также отметить исключительное чутье к деталям, продемонстрированное тремя выдающимися помощниками: Лююисом Робинсоном, Даной Вагнер и Хло Бланд; я выражаю свою благодарность Лююису, Данае и Хло за безукоризненную точность их работы.

Одна деталь, о которой стоит упомянуть: глава, названная «Красно-синий надувной матрас», была ранее опубликована – в несколько иной форме и на немецком языке – в номере «Süddeutsche Zeitung» от 27 июля 1994 года под названием «Die blaurote Luftmatratze».

Дж. И.

¹ Красная нить (нидерл.).

I

Лето 1958

Ничего не прикрывающий колпак

Однажды – ей было тогда четыре года, и она спала на нижней койке своей двухэтажной кровати – Рут Коул проснулась от страстных постанываний, доносившихся из родительской спальни. Эти звуки для нее были абсолютно внове. Рут только что перенесла грипп с желудочным осложнением и, впервые услышав, как ее мать занимается любовью, решила, что ее рвет.

Дело обстояло не так просто, как может показаться, поскольку у ее родителей были отдельные спальни; тем летом они даже спали в разных домах, хотя Рут второго дома никогда не видела. Ее родители по очереди ночевали в семейном доме с Рут. Поблизости находился и дом, который они арендовали, – там оставались отец или мать Рут, когда не ночевали с ней. То была одна из тех смешных договоренностей, к которым приходят расстающиеся, но еще не разведенные пары, пока они еще тешат себя мыслью, что детей и собственность можно поделить с великодушием и без скандалов.

Проснувшись от незнакомого звука, Рут сначала даже не могла понять, кого это рвет – то ли ее отца, то ли мать, но потом, несмотря на всю необычность этого звука, она различила в нем те печальные и затаенно истерические нотки, которые нередко слышались в голосе ее матери. А еще Рут вспомнила, что сегодня очередь матери оставаться с ней на ночь.

Родительская ванная отделяла комнату Рут от родительской спальни. Шлепая босиком по ванной, четырехлетняя девочка прихватила с собой полотенце (когда у нее был желудочный грипп, отец подкладывал полотенце, если ее рвало). «Бедная мамочка!» – думала Рут, неся ей полотенце.

В смутном лунном свете и еще более смутном и неровном свете ночника, установленного отцом Рут в ванной, Рут увидела бледные лица своих мертвых братьев на фотографиях, висевших здесь на стене. Фотографии мертвых братьев висели в доме повсюду, на всех стенах. Хотя двое юношей погибли еще до рождения Рут (даже до ее зачатия), Рут казалось, что она знает их гораздо лучше, чем знает свою мать или отца.

Высокий, темноволосый, с квадратным лицом был Томас; даже в четыре года – в нынешнем возрасте Рут – у Томаса была красота лидера, в нем было этакое сочетание самообладания и криминальных наклонностей: не случайно в юном возрасте он держался с уверенностью человека куда более зрелого. (Именно Томас сидел за рулем той несчастной машины.)

Того, что помладше, с незащищенным выражением, звали Тимоти; хотя он был уже подростком, но сохранял лицо младенца и, казалось, вечно был чем-то испуган. На многих фотографиях у Тимоти был такой вид, будто он никак не может решиться на что-то, будто он постоянно устранился от выполнения какого-то невероятно трудного трюка, освоенного Томасом без всяких проблем. (В конечном счете выяснилось, что это Томас не сумел в достаточной мере освоить такой важной вещи, как умение водить машину.)

Войдя в родительскую спальню, Рут Коул увидела обнаженного молодого человека, пристроившегося сзади к ее матери. Он сжимал руками груди стоявшей на четвереньках по-собачьи матери и охаживал ее, но закричала Рут не потому, что испугалась насилия, и не потому, что сексуальный акт вызвал у нее отвращение. Четырехлетняя девочка не знала, что видит сексуальный акт, к тому же то, что делали молодой человек и ее мать, не показалось Рут чем-то совсем уж отвратительным. Напротив, Рут даже испытала облегчение, увидев, что ее мать не рвет.

И не нагота молодого человека исторгла из нее крик – она видела голыми отца и мать; Коулы не прятали наготы. Крик у Рут вызвал сам молодой человек, потому что она была уверена: это один из ее мертвых братьев. Он был так похож на Томаса – того, уверенного в себе, что Рут Коул решила, будто видит призрак.

Четырехлетний ребенок может испускать довольно пронзительный звук. Рут поразились той скорости, с какой оставил свою позицию молодой любовник – он и в самом деле отделился от ее матери и кровати с таким ужасом и проворством, что казалось, его подхватил смерч или в него попало пушечное ядро. Он налетел на ночной столик и, пытаясь скрыть свою наготу, сорвал колпак со сломанного ночника. В таком виде он показался Рут призраком не таким грозным, как поначалу, к тому же Рут, рассмотрев его получше, узнала в нем парня, который занимал самую дальнюю гостевую комнату, парня, который водил автомобиль ее отца, – мать говорила, что он «работает на папочку». Один или два раза парень отвозил Рут и ее няньку на пляж.

В то лето у Рут сменились три няньки, и все они говорили, что парнишка этот ужасно бледен, но мать сказала Рут, что некоторые люди просто не выносят солнца. Девочка до этого, конечно же, никогда не видела парня голым, но все равно теперь она поняла, что это Эдди и что никакой он не призрак. И тем не менее четырехлетняя девочка снова закричала.

Вид у ее матери, все еще стоявшей в собачьей позе на кровати, был спокойный, как обычно, – она лишь смотрела на дочь с выражением неодобрения, пронизанного отчаянием. Прежде чем Рут закричала в третий раз, мать сказала ей: «Не кричи, детка. Это всего лишь мы с Эдди. Возвращайся в кроватку».

Рут Коул сделала, что ей было сказано, снова прошла мимо этих фотографий, у которых вид теперь был более призрачный, чем у грешного призрака, любовника ее матери. Эдди, пытаясь спрятаться за колпаком ночника, не отдавал себе отчета в том, что сквозь этот самый колпак, открытый с обеих сторон, Рут прекрасно видит его опадающий пенис.

Четыре года – слишком юный возраст, чтобы Рут могла запомнить Эдди или его пенис в каких-либо подробностях, но Эдди запомнил ее. Тридцать шесть лет спустя, когда ему будет пятьдесят два, а Рут – сорок, этот злосчастный молодой человек влюбится в Рут Коул, но даже и тогда он не пожалеет, что спал с ее матерью. Но, к сожалению, то уже будет проблема самого Эдди. А эта история – про Рут.

То, что Рут Коул стала писательницей, никак не было связано с ожиданиями ее родителей, которые хотели третьего сына; скорее уж источником писательского воображения Рут стало то, что она выросла в доме, где присутствие ее братьев на фотографиях ощущалось гораздо отчетливей, чем присутствие матери или отца, и то, что, когда мать бросила и ее, и ее отца (забрав с собой почти все фотографии своих погибших сыновей), Рут нередко спрашивала себя, почему ее отец не вытащил из стен все эти гвоздики, оставшиеся от снятых фотографий. Отчасти из-за этих гвоздиков она и стала писательницей – в течение многих лет, после того как мать бросила ее, она пыталась вспомнить, на каком гвоздике висела какая фотография. А когда ей не удавалось точно восстановить в памяти эти фотографии, Рут принималась выдумывать все остановленные мгновения их коротких жизней, закончившихся до ее появления на свет. Томас и Тимоти погибли еще до ее рождения, и это тоже отчасти повлияло на то, что она стала писательницей. Сколько она себя помнила – она всегда была вынуждена воображать их.

Это была одна из тех автомобильных катастроф, в которых гибнут подростки или юноши и после которых выясняется, что оба погибших были «хорошими ребятами» и ни один из них не пил перед поездкой. Но хуже всего было то (к нескончаемым душевным терзаниям супругов Коул), что Томас и Тимоти оказались в этой машине и именно в это время из-за совершенно необязательной и глупой ссоры своих матери и отца. Несчастливым родителям всю последующую жизнь являлись трагические последствия их пустяжного спора.

Впоследствии Рут сказали, что зачата она была во время бесстрастного, хотя и основанного на благих намерениях акта. Родители Рут ошибались, когда думали, будто их погибших сыновей удастся кем-то заменить, к тому же они даже не давали себе труда задуматься над тем, что новый ребенок, на которого будет возложено все бремя их невозможных ожиданий, может оказаться девочкой.

То, что Рут Коул выросла и превратилась в такое редкое сочетание, как уважаемый романист и в то же время автор международных бестселлеров, менее примечательно, чем тот факт, что она выросла вообще. Эти красивые мальчики на фотографиях взяли на себя почти всю любовь матери, но для нее неприязнь матери была гораздо выносимее, чем лед отношений между родителями, в холоде которого она росла.

Тед Коул, автор и иллюстратор детских бестселлеров, был красивым мужчиной, которому гораздо легче удавалось писать и иллюстрировать книги для детей, чем ежедневно исполнять родительские обязанности. И пока Рут не исполнилось четыре с половиной года, Тед если и не был пьян постоянно, то нередко выпивал слишком много. Верно также и то, что, если Тед не был бабником каждую минуту своей жизни, в жизни он не знал такого периода, когда его нельзя было бы назвать бабником. (Эта черта делала Теда более ненадежным с женщинами, чем с детьми.)

Тед стал детским писателем вынужденно. Литературным его дебютом был перехваленный роман для взрослых, явно не чуждый литературных изысков. Два следующих романа не стоят того, чтобы о них упоминать, разве в том плане, что никто (а в особенности издатель Теда) не проявлял заметного интереса к его четвертому роману, который так никогда и не был написан. Вместо четвертого романа он написал первую книжку для детей. Книжка эта называлась «Мышь за стеной», и то, что ее напечатали, было делом случая; на первый взгляд она, казалось, принадлежала к тому разряду детских книг, которые для взрослых не лишены двусмысленной притягательности, а дети запоминают их потому, что дети не забывают испуга. По крайней мере, Томас и Тимоти испугались, когда Тед впервые рассказал им эту историю – про мышь, живущую за стеной. К тому времени, когда Тед прочел эту книжку Рут, «Мышь за стеной» успела испугать от девяти до десяти миллионов детей по всему миру, говорящих более чем на тридцати языках.

Как и ее погибшие братья, Рут выросла на историях отца. Когда Рут впервые прочла эти истории в книге, у нее было такое ощущение, будто кто-то вторгся в ее частный мир. Она всегда считала, что отец придумывал эти истории для нее одной. Позднее Рут спрашивала себя, не чувствовали ли того же самого и ее братья – что и в их частный мир вторгся кто-то чужой.

Что можно сказать о матери Рут? Марион Коул была красивой женщиной. Еще она была хорошей матерью – по крайней мере до рождения Рут. А до смерти своих любимых сыновей она, несмотря на бесконечные измены мужа, была к тому же преданной и верной женой. Но после той катастрофы, в которой погибли ее дети, Марион стала другой, далекой и холодной. К дочери она выказывала неприкрытое безразличие, а потому Рут относительно легко было отказаться от нее. Рут куда труднее было осознать пороки своего отца; ей потребовалось для этого немалое время, а когда это все же произошло, было уже слишком поздно – целиком и полностью отвернуться от отца она не могла. Она была очарована Тедом – Тедом, до определенного его возраста, очаровывались почти все. Никто никогда не очаровывался Марион. Бедняжка Марион и не пыталась никогда никого очаровать, даже свою дочь; и все же любить Марион Коул было вполне возможно.

И тут-то в этой истории и появляется Эдди – парнишка с ничего не прикрывающим колаком. Он любил Марион – он любил ее всю жизнь. Естественно, что если бы он с самого начала знал, что влюбится в Рут, то он бы дважды подумал, прежде чем влюбиться в ее мать. А может, и нет. Это было выше его сил.

Летняя работа

Его звали Эдвард О'Хара. Летом 1958 года ему недавно исполнилось шестнадцать лет – наличие водительских прав было непременным условием приема на его первую летнюю работу. Но Эдди О'Хара и не подозревал, что истинная его летняя должность будет называться «любовник Марион Коул»; Тед Коул и нанял его с этой целью, и этот шаг имел далеко идущие последствия – на всю жизнь.

Эдди было известно о трагедии в семье Коулов, но разговоры взрослых интересовали его (как и всех юнцов) лишь эпизодически. Он закончил второй курс Экзетерской академии Филиппса², где его отец преподавал английский и литературу. Через академию Эдди и получил эту работу. Отец Эдди истово верил в связи академии. Сначала ученик, а потом и преподаватель академии, старший О'Хара никогда не отправлялся в отпуск без довольно захватанного «Справочника академии». С его точки зрения, выпускники академии на всю жизнь становились носителями некой ответственности – они доверяли друг другу и по возможности оказывали друг другу услуги.

Академия считала, что Коулы и так уже проявили к ней щедрость. Их погибшие сыновья хорошо учились и пользовались успехом у товарищей. Несмотря на свою скорбь, а возможно, и благодаря ей Тед и Марион Коул ежегодно оплачивали услуги нештатного профессора, читавшего лекции по английской литературе – любимому предмету Томаса и Тимоти. «Мятный» О'Хара – как называли О'Хару-старшего бесчисленные выпускники и ученики, – давая уроки, неизменно сосал мятные леденцы, освежающие дыхание, и горячо любил зачитывать любимые пассажи из рекомендованных им к чтению книжек. Так называемые «Лекции Томаса и Тимоти Коулов» были идеей Мятного О'Хары.

И когда Эдди высказал отцу пожелание относительно первой своей летней работы (а хотел он устроиться секретарем к *писателю* – шестнадцатилетний мальчишка давно уже вел дневник, а недавно написал несколько рассказов), старший О'Хара недолго думая открыл «Справочник академии». Вообще среди выпускников (а Томас и Тимоти поступили в академию именно потому, что Тед был ее выпускником) академии Том Коул был не единственным писателем, но Мятный О'Хара, который всего четырьмя годами ранее сумел убедить Теда Коула расстаться с восьмьюдесятью двумя тысячами долларов, знал, что Тед легко поддается уговорам.

– Платить ему хоть сколько-нибудь серьезные деньги вовсе не обязательно, – сказал Мятный Теду по телефону. – Парнишка может печатать для вас на машинке, отвечать на письма, быть у вас на побегушках – все, что захотите. Главным образом это для того, чтобы он набрался опыта. То есть, я хочу сказать, если он собирается стать писателем, то должен знать, как писатель работает.

Тед по телефону отвечал уклончиво, но вежливо; к тому же он был пьян. У него для Мятного О'Хары было другое прозвище – Тед называл его «Настырный». То, что сделал Настырный О'Хара, было и в самом деле вполне в его духе: он указал, где находятся фотографии Эдди в ежегодной книге академии 1957 года.

В первые несколько лет после гибели Томаса и Тимоти Коулов Марион просила присылать ей ежегодники академии. Если бы Томас и Тимоти не погибли, то первый стал бы выпускником 54-го, а второй – 56-го года. Но теперь, стараниями Мятного О'Хары, который включил Коулов в рассылочный список (Мятный полагал, что таким образом избавляет Марион от излишних переживаний, неизбежных, если ей придется самой обращаться к нему с этой прось-

² Привилегированное частное учебное заведение, школа-интернат для 9–12 классов, расположено в городке Экзетер, штат Нью-Гемпшир, в пятидесяти милях от Бостона. Основано в 1781 году коммерсантом Джоном Филиппсом, чье имя и носит.

бой), выпускная книга приходила к Коулам ежегодно, даже после того, как прошли выпускные года Томаса и Тимоти. Марион продолжала внимательно изучать книги – она неизменно поражалась сходству отдельных лиц с лицами ее сыновей, хотя после рождения Рут и перестала указывать на эти похожие черты Теду.

На страницах выпускной книги 1957 года Эдди О'Хара стоял в первом ряду на фотографии членов Младшего дискуссионного клуба. Эдди был одет во фланелевые брюки, твидовый пиджак, полосатый галстук и был бы совершенно незаметен среди других, если бы не поразительная откровенность его лица и торжественное предчувствие какой-то будущей печали в его больших темных глазах.

На этой фотографии Эдди был на два года моложе, чем Томас, и того же возраста, что и Тимоти в момент их гибели. И тем не менее Эдди был больше похож на Томаса, чем на Тимоти. Еще больше на Томаса он был похож на фотографии Туристического клуба, где кожа у Эдди казалась почище, а выражение лица было увереннее, чем у большинства других мальчишек, которые обладали тем, что Тед Коул назвал бы стойким интересом к улице. Еще один – и последний – раз Эдди появлялся в книге 1957 года на фотографии двух юниорских спортивных команд: юниорской команды бегунов по пересеченной местности и юниорской команды бегунов по гаревой дорожке. Худоба Эдди наводила на мысль, что бегают парнишка скорее из нервозности, чем ради удовольствия, и что бег, вероятно, его единственное спортивное увлечение.

Тед Коул с напускным безразличием показал эти фотографии юного Эдварда О'Хары своей жене.

– Парнишка вроде похож на Томаса, как ты думаешь? – сказал он.

Марион уже видела эти фотографии – она самым внимательным образом просматривала все фотографии в ежегодниках академии.

– Да, немного, – ответила она. – А что? Кто это?

– Он ищет летнюю работу, – сказал ей Тед.

– У нас?

– У меня, – сказал Тед. – Он хочет стать писателем.

– А что он будет у тебя делать? – спросила Марион.

– Я полагаю, главным образом он хочет набраться опыта, – сказал ей Тед. – То есть коли он решил, что хочет стать писателем, то должен узнать, как писатель работает.

Марион, которая всегда хотела стать женой писателя, знала, что муж ее не утруждает себя работой.

– Но что именно он будет делать?

– Ну...

У Теда была привычка оставлять предложения и мысли незаконченными, неполными. Он делал это намеренно, однако сам не отдавая себе в этом отчета: это был элемент его уклончивой манеры поведения.

Перезвонив Мятному О'Харе с предложением работы для его сына, Тед первым делом спросил, есть ли у Эдди водительские права. Тед второй раз был осужден за вождение в пьяном виде и на лето 58-го остался без прав. Он надеялся, что лето может стать самым подходящим временем для того, чтобы (как он это называл) «для пробы разделиться» с Марион, но если он собирался снять поблизости дом и одновременно разделять семейный дом (и Рут) с Марион, то ему нужен был водитель.

– Конечно, у него есть права! – сказал Мятный, и таким образом судьба мальчишки была решена.

А вопрос Марион о том, чем именно будет заниматься Эдди О'Хара, остался в подвешенном состоянии, как это часто делал Тед Коул, оставлявший вещи в подвешенном состоянии, а точнее – в неопределенно подвешенном. А еще он оставил Марион сидеть с откры-

тым ежегодником академии на коленях – он нередко ее так оставлял. Он не мог не заметить, что фотография Эдди в спортивном костюме приковала к себе внимание Марион. Длинным розовым ногтем своего указательного пальца Марион обводила контуры голых плеч Эдди – движение это было неосознанным, но в высшей степени сосредоточенным. Тед поневоле задавался вопросом, не осознает ли он лучше, чем сама бедняжка Марион: она все более одержима мальчиками, похожими на Томаса или Тимоти. В конечном счете ведь она еще не спала ни с одним из них.

Эдди стал единственным, с кем она спала.

Шум – словно кто-то старается не шуметь

Эдди О'Хара мало прислушивался к непрекращающимся в Экзетере разговорам о том, как Коулы «справляются» с трагической гибелью сыновей; даже пять лет спустя после той катастрофы эта тема была главной на приемах, организуемых от имени факультета Мятным О'Харой и его жадной до сплетен женой. Мать Эдди звали Дороти, но все (исключая отца Эдди, который не любил прозвища) называли ее Дот.

Слухи Эдди пропускать мимо ушей. Он был прилежным учеником – парнишка усердно готовился к летней работе в качестве секретаря писателя, и это казалось ему делом поважнее, чем запоминать газетные отчеты о трагедии.

Если Эдди и упустил известие о том, что Коулы родили еще одного ребенка, то эта новость не прошла мимо Мятного и Дот О'Хары: того факта, что Тед Коул был выпускником академии (1931 года), а два его сына во время гибели числились ее учениками, было достаточно, чтобы *все* Коулы всегда оставались в сфере внимания Экзетера. Более того, Тед Коул был знаменитым экзонианцем³, и его слава производила сильное впечатление если не на Эдди, то на старших О'Хара.

Тот факт, что Тед Коул был одним из самых известных детских писателей Северной Америки, определил особый интерес прессы к трагедии. Как известный автор и иллюстратор детских книг «справляется» со смертью собственных детей? А репортажам, носящим такой личный характер, всегда сопутствуют слухи. Из членов преподавательских семей академии, пожалуй, только Эдди О'Хара не обращал на эти слухи особого внимания. Он определенно был единственным жителем Экзетера, прочитавшим все, написанное Тедом Коулом.

Большинство людей поколения Эдди (плюс полпоколения до и после него) прочли «Мышь за стеной» или (что более вероятно) прослушали ее в том возрасте, когда еще не умели читать. Преподаватели и ученики академии по большей части читали и другие детские книги Теда Коула. Но трех взрослых романов Теда никто в Экзетере не читал; с одной стороны, их уже не было в продаже, а с другой – их качество оставляло желать лучшего. Тем не менее, будучи преданным экзонианцем, Тед Коул подарил библиотеке академии по экземпляру первых изданий своих книг и оригинальные рукописи всего, что им было написано.

Эдди мог бы узнать больше из слухов и сплетен (по крайней мере, «больше» в смысле подготовки к предстоящим ему трудам его первой летней работы), но страсть Эдди к чтению лишней раз свидетельствовала о том, насколько серьезно парнишка готовился к роли секретаря писателя. А вот чего Эдди не знал, так это того, что Тед Коул уже становится *бывшим* писателем.

Теда хронически тянуло к молодым женщинам: Марион было всегда семнадцать и она уже была беременна Томасом, когда Тед женился на ней. Самому Теду тогда было двадцать три. Беда была в том, что, по мере того как Марион становилась старше (правда, при этом она неизменно оставалась на шесть лет моложе Теда), интерес Теда к молодым женщинам не проходил.

Тяга пожилых мужчин к невинным девочкам была предметом, с которым шестнадцатилетний Эдди О'Хара сталкивался только в романах, и стеснительно-автобиографические романы Теда Коула не были из первых или из лучших, прочитанных Эдди на эту тему. Тем не менее сдержанное отношение, которое вызвали у этого паренька труды Теда Коула, ничуть не уменьшило его желание стать секретарем Теда. Ведь можно научиться искусству или мастерству и у того, кто сам вовсе не является мэтром. В конечном счете Эдди многому научился в академии у самых разных учителей, большинство из которых были первоклассными специа-

³ Принятое название выпускников и учащихся Экзетерской академии.

листами. Лишь немногие из преподавателей были такими занудными, как его отец. Даже Эдди чувствовал, что Мятный мог бы являть собой пример посредственности и в плохой школе, не говоря уже об Экзетерской академии.

Эдди О'Хара, почти всю жизнь прошедший в обстановке и на территории хорошей школы, знал, что у взрослых людей – которые трудятся не покладая рук и придерживаются определенных стандартов – можно многому научиться. Он не знал, что Тед Коул больше не трудится не покладая рук, а остатки его сомнительных «стандартов» грозят и вовсе исчезнуть после мучительного крушения их с Марион брака – вдобавок к этим смертям, которые невозможно было принять.

Детские книги Теда Коула представляли для Эдди бо́льший интеллектуальный и психологический (и даже эмоциональный) интерес, чем романы. Назидательные истории для детей давались Теду естественно, он мог представлять себе и выражать детские страхи, и детям это нравилось. Доживи Томас и Тимоти до зрелости, они наверняка разочаровались бы в своем отце. И Рут Коул однажды разочаруется в отце, хотя в детстве она любила его.

В шестнадцать лет Эдди О'Хара был на полпути из детства во взрослую жизнь. По мнению Эдди, ни для одной истории невозможно было придумать начало лучше, чем первое предложение «Мыши за стеной»: «Том проснулся, а Тим – нет». Рут Коул всю свою писательскую жизнь (а она по всем меркам была писателем гораздо лучшим, чем ее отец) завидовала этому предложению. Она никогда не забывала ситуацию, в которой услышала эту фразу, а это случилось задолго до того, как она узнала, что это первое предложение знаменитой книги.

Это случилось тем же летом 58-го, когда Рут было четыре года, – незадолго перед тем, как у них появился Эдди. Ее разбудили не звуки соития – этот звук последовал за ней из сна в бодрствование. Во сне Рут кровать ее тряслась, а когда она проснулась, трясло саму Рут, и потому казалось, что тряслась и ее кровать. И в течение нескольких секунд, когда Рут уже абсолютно проснулась, звук из ее сна продолжался. Потом он резко прекратился. Это был такой звук, словно кто-то пытался не шуметь.

– Па! – прошептала Рут.

Она помнила (на этот раз), что сегодня с ней оставался отец, но шепот ее был таким тихим, что она и сама не слышала собственного голоса. И потом, Тед Коул спал обычно так, что его и из пушки было не разбудить. Как и большинство людей сильно пьющих, он никогда не засыпал – он вырубался и пребывал в этом состоянии по меньшей мере часов до четырех-пяти, а после этого времени вообще не мог уснуть.

Рут выползла из кровати и через ванную пробралась в родительскую спальню, где лежал ее отец, от которого пахло виски или джином с такой же силой, с какой от машины в закрытом гараже пахнет маслом и бензином.

– Папа! – сказала она. – Мне что-то снилось. Я что-то слышала.

– Что ты слышала, Рути? – спросил у нее отец.

Он не шелохнулся, хотя и не спал.

– Он пришел с улицы, – сказала Рут.

– Шум?

– Он в доме, но он старается не шуметь, – объяснила Рут.

– Ну, тогда давай пойдем поищем его, – сказал отец. – Шум – словно кто-то старается не шуметь. Я должен разобраться, что же это такое.

Он взял ее на руки и понес в большой верхний коридор. В верхнем коридоре фотографий Томаса и Тимоти было больше, чем в любой другой части дома, и когда Тед включил здесь свет, мертвые братья Рут, казалось, потребовали их внимания – словно свита принцев, добивающихся благосклонности принцессы.

– Шум, кто ты? – выкрикнул Тед.

– Поищи в гостевых комнатах, – ответила Рут.

Отец понес ее в дальний конец коридора, где находились три гостевые спальни, в каждой из которых тоже висели фотографии. Они включили свет, посмотрели в стенных шкафах, за занавесками в ванной.

- Шум, выходи! – потребовал Тед.
- Шум, выходи! – повторила Рут.
- Может, он внизу? – предположил отец.
- Нет, он был с нами, наверху, – сказала ему Рут.
- Тогда я думаю, он уже убежал, – сказал Тед. – И как же он шумел?
- Он шумел так, будто хотел, чтобы его не слышали, – сказала ему Рут.

Он посадил ее на одну из кроватей в гостевой спальне, потом вытащил из ночного столика авторучку и блокнот. Ему так понравилось то, что она сказала, что он должен был это записать. Но на нем не было пижамы, а значит, и карманов, в которых была бы бумага, а теперь, снова взяв Рут на руки, он держал листок бумаги в зубах. Она, как и обычно, не проявляла почти никакого интереса к его наготе.

- У тебя такая смешная пипка, – сказала она.
- Да, смешная пипка, – согласился ее отец.

Он это всегда говорил. На сей раз, когда в зубах у него был зажат клочок бумаги, это небрежное замечание казалось еще небрежнее обычного.

- А куда ушел шум? – спросила его Рут.

Он пронес ее по гостевым спальням и гостевым ванным, выключая свет, но в одной из ванн остановился так резко, что Рут представилось, будто Томас или Тимоти, а то и оба вместе протянули с одной из фотографий руки и схватили его.

– Я расскажу тебе историю о шуме, – сказал ей отец, листочек бумаги затрепыхался в его губах.

Он, не выпуская ее из рук, немедленно уселся на край ванной.

На завладевшей его вниманием фотографии братьев Томасу было четыре года – точный возраст Рут. Композиция фотографии была неудачна: Томас сидел на большом диване, обитом какой-то цветастой тканью; эта ботаническая избыточность, казалось, полностью подавила двухлетнего Тимоти, которого Томас неохотно держал у себя на коленях. Судя по всему, это был 1940 год – Эдди О’Хара должен был родиться лишь через пару лет.

– Однажды, когда Томасу было столько, сколько тебе – Тимоти тогда еще писался в пеленки, – Томас услышал шум, – начал Тед.

Рут навсегда запомнила, как ее отец вытащил изо рта листок бумаги.

– И они оба проснулись? – спросила Рут, глядя на фотографию.

Этот ее вопрос и вызвал к жизни незабываемую старую историю; с самой первой строчки Тед Коул знал ее наизусть.

– Том проснулся, а Тим – нет.

Рут вздрогнула на руках отца. Даже будучи взрослой женщиной и признанным писателем, она не могла без дрожи слышать эти слова.

«Том проснулся, а Тим – нет. Была середина ночи.

– Ты слышал? – спросил Том у брата.

Но Тиму было всего два года, и даже когда он не спал, то был не очень-то разговорчив.

Том разбудил отца и спросил у него:

– Ты слышал этот шум?

– А на что он был похож? – спросил его отец.

– Он был похож, как если бы чудовище без рук, без ног пыталось двигаться, – сказал Том.

– Как же оно может двигаться без рук, без ног? – спросил его отец.

– Оно извивается, – сказал Том. – Оно скользит на своей шерсти.

– Так у него и шерсть есть? – спросил его отец.

– Оно подтягивается, цепляясь зубами, – сказал Том.

– Так у него, оказывается, еще и зубы?! – воскликнул его отец.

– Я же тебе сказал – это чудовище! – ответил Том.

– Но какой именно шум тебя разбудил? – спросил его отец.

– Это был такой шум, как если бы в стенном шкафу ожило одно из маминых платьев и попыталось слезть с вешалки, – сказал Том».

Всю жизнь с тех пор Рут Коул побаивалась стенных шкафов. Она не могла спать, если была открыта дверца стеного шкафа – Рут не выносила вида висящей там одежды. Она вообще не любила висящей одежды – и точка! Ребенком Рут никогда не открывала дверцы шкафа, если в комнате было темно, – боялась, что платья затянут ее внутрь.

«– Давай-ка вернемся в твою комнату и послушаем, что это такое, – сказал отец Тома.

Они увидели Тима, который по-прежнему сладко спал – он так и не слышал никакого шума. Шум был такой, словно кто-то вытаскивал гвозди из половиц под кроватью. Шум был такой, словно собака пыталась открыть дверь. У собаки текли слюни, а потому она толком не могла ухватиться за дверную ручку, но она не оставляла попыток и наконец вошла в дом, решил Том. Шум был такой, словно на чердаке какой-то призрак разбрасывал орешки, украденные им на кухне».

В этом месте, слушая историю в первый раз, Рут прервала отца и спросила, что такое чердак.

– Это большая комната на самом верху дома, над всеми спальнями, – ответил ей отец.

Существование такой комнаты казалось ей непостижимым и повергало девочку в ужас – в том доме, в котором выросла Рут, никакого чердака не было.

«– Вот он опять – этот шум, – прошептал Том отцу. – Ты слышал?

Теперь проснулся и Тим. Шум был такой, словно кто-то застрял в доске, из которой было сделано изголовье кровати, и теперь через дерево прогрызался наружу».

И тут Рут снова прервала отца. В ее двухэтажной кроватке не было никакого изголовья, и еще она не знала, что такое «прогрызаться». Отец объяснил ей.

«Тому казалось, что этот шум наверняка издает безрукое, безногое чудовище, которое подтаскивает свое мохнатое мокрое тело, цепляясь зубами!

– Это чудовище! – воскликнул Том.

– Это мышь, которая живет за стеной, – сказал его отец.

Тим закричал от страха. Он не знал, что такое „мышь“. Ему стало боязно, когда он представил себе что-то мокрое и мохнатое, без рук и без ног, ползущее за стеной. И вообще, как такое страшилище могло там, за стеной, оказаться?

Но Том спросил у отца:

– Так это только мышь?

Его отец постучал ладонью по стене, и они услышали, как мышь убежала прочь.

– Если она вернется, – сказал он Тому и Тиму, – просто постучите по стене.

– Мышь, живущая за стеной! – сказал Том. – Вот что это было!

Он быстро заснул, и его отец вернулся в кровать и тоже заснул, но Тим не спал всю ночь, он ведь не знал, что такое мышь, и не хотел засыпать – а вдруг этот зверь, который живет за стеной, вернется назад. Каждый раз, когда Тиму казалось, что мышь шуршит за стеной, он ударял по стене ладошкой, и мышь убегала, волоча за собой свою мокрую густую шерсть».

– Вот так, – сказал отец Рут, потому что все истории он заканчивал одинаково.

– Вот так, – сказала ему Рут, – и закончилась эта история.

Когда отец встал с края ванны, Рут услышала, как коленки у него хрустнули. Она увидела, как он снова засунул листик бумаги в рот и зажал его зубами. Он выключил свет в ванной, где вскоре Эдди О’Хара будет проводить немислимое количество времени – принимать душ, пока не кончится горячая вода, или заниматься какими другими подростковыми глупостями.

Отец Рут выключил свет в длинном верхнем коридоре, где фотографии Томаса и Тимоти висели рядом. Рут, особенно в этот год, когда ей было четыре, казалось, что вокруг слишком много фотографий Томаса и Тимоти в возрасте четырех лет. Позднее она решила для себя, что ее мать, наверное, четырехлетних предпочитала детям всех других возрастов, и еще Рут спрашивала себя: уж не поэтому ли мать бросила ее в конце лета, когда ей было четыре.

Когда отец положил ее назад на ее двухэтажную кроватку, Рут спросила его:

– А в этом доме есть мыши?

– Нет, Рути, – сказал он. – Тут за стенами никто не живет.

Он поцеловал ее, пожелав спокойной ночи, но она никак не могла уснуть, и, хотя звук, пришедший к ней из сна, не повторился (по крайней мере, в ту ночь), Рут знала: в этом доме что-то живет за стенами. Ее мертвые братья не ограничивали сферу своего обитания одними фотографиями. Они двигались по дому, и их незримое присутствие можно было обнаружить самыми разными способами.

В ту ночь, еще до того, как раздался стук пишущей машинки, Рут знала, что отец не спит, что он еще не ложился в кровать. Сначала она слушала, как он чистит зубы, потом – как он одевается: вжик – вжикнула его молния, зашлепали шлепанцы.

– Папа? – позвала она.

– Да, Рути.

– Я хочу водички.

На самом деле она не хотела пить, но ее всегда завораживало, как отец пропускает воду, пока не пойдет холодная. Мать всегда сразу же наполняла стакан, и вода была теплой и пахла ржавчиной.

– Не пей много – описашься, – говорил ей отец, а мать позволяла пить, сколько ее душе было угодно, иногда даже не смотрела, как пьет дочь.

Возвращая стакан отцу, Рут сказала отцу:

– Расскажи мне о Томасе и Тимоти.

Отец вздохнул. В течение последних шести месяцев Рут демонстрировала неистощающийся интерес к теме смерти, что, впрочем, было неудивительно. Рут научилась различать Тимоти и Томаса на фотографиях, когда ей было три года, вот только в их самых пеленочных фотографиях она путалась. Мать и отец рассказывали Рут, как и когда была сделана каждая из фотографий: кто снимал – мамочка или папочка, плакал ли Томас или Тимоти. Но представление о том, что мальчики мертвы, было для нее новым, и она только недавно попыталась осознать его.

– Скажи мне, – повторила она, обращаясь к отцу. – Они умерли?

– Да, Рути.

– А умерли, это что значит – сломались?

– Да... их тела сломались, – сказал Тед.

– И они теперь под землей?

– Их тела под землей, да.

– Но они не совсем исчезли? – спросила Рут.

– Понимаешь, пока мы о них помним – не совсем. Они остаются в наших мыслях и наших сердцах, – сказал ее отец.

– Они вроде как внутри нас? – спросила Рут.

– Так.

Отец предпочел оставить эту тему, но он и так сказал гораздо больше, чем Рут слыхала от матери – та никогда не говорила «умерли». И ни Тед, ни Марион Коул не были людьми религиозными. У них в запасе не было необходимых подробностей для концепции рая, хотя каждый из них в других разговорах с Рут на эту тему и упоминал некие таинственные небеса и

звезды; они хотели этим сказать, что какая-то часть мальчиков существовала где-то отдельно от их сломанных тел, лежащих под землей.

– Ну, – сказала Рут, – тогда скажи мне, что значит «умерли».

– Рути, послушай меня...

– Слушаю, – сказала Рут.

– Вот когда ты смотришь на фотографии Томаса и Тимоти, ты вспоминаешь истории о том, что они делали? – спросил ее отец. – Я хочу сказать – на фотографиях. Ты помнишь, что они делали на фотографиях?

– Да, – ответила Рут, хотя она и не была уверена, что может вспомнить, что они делали на *всех* фотографиях.

– Ну так вот... Томас и Тимоти живы в твоём воображении, – сказал ей отец. – Когда человек умирает, когда его тело ломается, это означает, что мы больше не можем видеть его тела – его тело исчезает.

– Его кладут под землю, – поправила его Рут.

– Мы больше не можем видеть Томаса и Тимоти, – гнул свое отец, – но они остались в нашем воображении. Думая о них, мы их видим в воображении.

– Они ушли из этого мира, – сказала Рут. (По большей части она повторяла то, что слышала раньше.) – Они теперь в другом мире?

– Да, Рути.

– И я тоже умру? – спросила четырехлетняя Рут. – Я тоже буду вся сломана?

– Ну, это случится очень-очень не скоро! – сказал отец. – До тебя должен сломаться я, но и это еще произойдет очень-очень не скоро.

– Очень-очень не скоро? – повторила девочка.

– Я тебе обещаю, Рути.

– Ну хорошо, – сказала Рут.

Такого рода разговор происходил между ними чуть не каждый день. Подобные же разговоры происходили у Рут и с матерью, только они были короче. Как-то раз, когда Рут сказала отцу, что если она думает о Томасе и Тимоти, то ей становится грустно, отец признался, что и ему грустно от этих мыслей.

Рут тогда сказала:

– Но маме еще грустнее.

– Да... грустнее, – сказал тогда Тед.

Так Рут и лежала без сна в доме, за стенами которого что-то водилось, что-то большее, чем мышь, и она прислушалась к единственному звуку, которому удавалось успокоить ее, хотя от этого же звука она впадала в меланхолию. Это было еще до того, как она узнала, что такое «меланхолия». Это был звук пишущей машинки – звук историй. Став писателем, Рут так никогда и не перешла на компьютер – она либо писала от руки, либо печатала на машинке, которая производила самый старый звук из всех опробованных ею печатных машинок.

Тогда (в то лето 1958 года) она не знала, что ее отец начинает писать историю, которая станет ее любимой. Он работал над ней все лето, и она стала единственным литературным произведением, созданию которого «способствовал» будущий секретарь Теда – Эдди О'Хара. И хотя ни одна из детских книг Теда Коула не знала такого коммерческого успеха и международной славы, как «Мышь за стеной», книга, начатая Тедом той ночью, стала самой любимой для Рут. Называлась она, конечно, «Шум – словно кто-то старается не шуметь», и для Рут она всегда была особенной, потому что именно Рут вдохновила отца на ее создание.

Несчастливые матери

Детские книги Теда Коула невозможно было классифицировать по возрастным категориям. «Мышь за стеной» рекламировалась как книга для чтения детям в возрасте от четырех до шести лет; книга эта имела успех на рынке, как и следующие книги Теда. Но, скажем, двенадцатилетние часто заново перечитывали Теда Коула. Эти более умудренные читатели нередко писали автору письма, в которых говорилось, что они раньше считали его детским писателем, но потом обнаружили в его книгах глубинные смыслы. Эти письма, демонстрировавшие разную степень владения или невладения пером и грамотностью, служили обоями в мастерской Теда.

Он сам называл это «мастерской», и позднее Рут спрашивала себя, уж не выражало ли это мнение ее отца о себе с большей резкостью, чем это казалось тогда ей, ребенку. Эта комната никогда не называлась «студией», потому что ее отец давно уже перестал считать свои книги произведениями искусства; в то же время «мастерская» – это звучало более претенциозно, чем «кабинет»: этим словом Тед тоже никогда не пользовался, потому что считал свою работу творческой. Он обижался, слыша распространенное мнение, что его книги – всего лишь бизнес. Позднее Рут поняла, что отец более ценил себя как рисовальщика, чем как писателя, хотя никто не мог бы сказать, что успех или слава «Мыши за стеной» и других детских книг Коула определялись иллюстрациями.

По сравнению с той магией, которая, может, и таилась в самих историях, неизменно страшных, кратких, написанных ясным языком, иллюстрации, на взгляд любого издателя, были рудиментарными и немногочисленными. И тем не менее читатели Теда, эти миллионы детей от четырех до четырнадцати, а иногда и чуть старше (не говоря уже о молодых матерях, которые были главными покупателями книг Теда Коула), никогда не жаловались. Эти читатели никогда бы не догадались, что отец Рут проводил гораздо больше времени за рисованием, чем за писанием, – для каждой иллюстрации, появлявшейся в книге, делались сотни набросков. Что же касается его рассказов, составивших ему славу... ну, обычно-то Рут слышала стук пишущей машинки только по ночам.

Представьте себе бедного Эдди О'Хару. В 1958 году летним июньским утром он стоял около причалов Пиквод-авеню в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, в ожидании паромы, который должен был доставить его в Ориент-Пойнт на Лонг-Айленде. Эдди думал о своей будущей работе в качестве секретаря писателя, даже не подозревая, что ему в этой роли практически не придется пользоваться авторучкой. (О карьере художника Эдди и не думал.)

Говорилось, что Тед Коул бросил Гарвард и поступил в не очень престижную художественную школу; на самом деле это была дизайнерская школа, куда поступали ребята средних способностей и скромных амбиций, пределом мечтаний считавшие карьеру в промышленности. Ни травление, ни литография его не интересовали – он предпочитал одно рисование. Он говорил, что любимый его цвет – темнота.

Для Рут отец всегда ассоциировался с карандашами и ластиками. На его руках вечно были черные и серые пятна, а на одежде – катышки ластика. Но еще более постоянным признаком Теда (даже если он только что принял ванну и оделся во все свежее) были пальцы, запачканные чернилами. Цвет чернил менялся от книги к книге.

– Это черная книга или коричневая? – бывало, спрашивала у отца Рут.

«Мышь за стеной» была черной книгой – исходные рисунки делались китайской тушью, любимыми черными чернилами Теда. «Шум – словно кто-то старается не шуметь» стал коричневой книгой – именно этот цвет и передавал летний дух 1958 года; для коричневого цвета он из всех чернил предпочитал кальмаровые – хотя они по цвету ближе к черному, но имеют коричневатый оттенок и (при определенных условиях) пахнут рыбой.

Эксперименты Теда по сохранению кальмаровых чернил были еще одним камнем преткновения в его и без того уже натянутых отношениях с Марион, которой пришлось научиться не трогать зачерненные емкости в холодильнике, стоявшие в опасной близости к поддончикам со льдом. (Позднее тем же летом Тед пытался сохранять эти чернила в самих поддончиках; результат был жуткий – и комический в то же время.)

И одна из первых обязанностей Эдди О'Хары (в качестве не секретаря писателя, а лицензированного водителя) состояла в том, чтобы отправляться в сорокапятиминутную поездку до Маунтока и обратно; только рыбный магазин в Маунтоке брался сохранять кальмаровые чернила для знаменитого автора и иллюстратора детских книг. Когда хозяина магазина не оказывалось поблизости, его жена неизменно сообщала Эдди, что она «беззаветная поклонница» Теда.

Мастерская отца Рут была единственным помещением в доме, где на стенах не висели фотографии Томаса или Тимоти. Рут спрашивала себя: может, ее отец не в состоянии думать или работать в присутствии своих погибших мальчиков?

И если отца не было в его мастерской, то эта комната – единственная из всех в доме – становилась недоступной для Рут. Может, там таилось что-то опасное для нее? Какие-то жуткие острые инструменты? Там лежало без счету металлических перышек, которые легко было проглотить, хотя Рут была не из тех детей, что суют в рот всякие незнакомые предметы. Но какими бы опасностями ни грозила комната отца – если только там и в самом деле были какие-то опасности, – свободу четырехлетней девочки не было нужды ограничивать, как не было никакой необходимости в замке на мастерской. Одного запаха кальмаровых чернил было достаточно, чтобы она держалась оттуда подальше.

Марион никогда не подходила к мастерской Теда, но Рут, лишь когда ей перевалило за двадцать, поняла, что мать отпугивал не только запах кальмаровых чернил. Марион не хотела встречаться – видеть не могла натурщиков Теда, и даже не самих детей, потому что дети никогда не приходили без сопровождения своих мамаш. Только после того, как дети успевали попозировать раз пять-шесть, матери приходили позировать в одиночку. Когда Рут была ребенком, ей и в голову не приходило задаться вопросом, почему в книгах отца в итоге оказывалось так мало изображений матерей с детьми. Конечно, поскольку отец делал детские книги, в них никогда не было ню, хотя Тед рисовал их множество; с этих молодых матерей рисовались буквально сотни ню.

Отец говорил Рут: «Ню – необходимое, фундаментальное упражнение для любого художника». Она поначалу считала, что они необходимы в той же степени, что и пейзажи, хотя Тед почти не рисовал пейзажей. Рут думала, что пейзажи не интересны отцу, потому что земля – такая однообразная, ровная, словно заасфальтированная дорога, устремленная к морю; ей казалось, что земля такая же однообразная и ровная, как само море, не говоря уже о громадных и нередко наводящих тоску небесных просторах над головой.

Отца так мало, казалось, интересовали пейзажи, что позднее она удивлялась, когда он негодовал, глядя на новые дома; «архитектурные чудовища» – так он их называл. Новые дома без всякого предупреждения поднимались на этом ровном фоне картофельных полей (прежде это и был пейзаж, который по большей части наблюдали Коулы) и разрушали его.

«Нет никаких оснований строить такие экспериментально-уродливые здания, – заявлял за обедом Тед тем, кто желал его слушать. – Мы ни с кем не воюем. Нет нужды возводить уродины, отпугивающие парашютистов». Но негодующие тирады ее отца в конечном счете приелись; архитектура летних домов в этой части мира, названной Гемптонами⁴, не представляла такого интереса – и для Рут, и для ее отца, – как более привлекательные ню.

⁴ Гемптонами называют два городка – Саутгемптон и Ист-Гемптон в округе Суффолк, штат Нью-Йорк, на южной око-

Почему молодые *замужние* женщины? Почему все эти *матери*? Уже учась в колледже, Рут задавала отцу вопросы более прямые, чем в любое другое время ее жизни. И опять же во времена ее студенчества ей в голову пришла одна тревожная мысль. Какие еще натурщицы, а иным словом – любовницы, у него были? С кем еще он постоянно встречался? Конечно же, молодые матери были из тех, кто узнавал его, кто подходил к нему.

«Мистер Коул? Я вас знаю: вы – Тед Коул! Дочка у меня такая стеснительная – я вам за нее скажу: вы ее любимый писатель. Вы написали книжку, от которой она просто без ума...» А потом упирающаяся дочка (или смущающийся сын) выталкивалась вперед, чтобы пожать руку Теду. Если мать нравилась Теду, то он предлагал ребенку вместе с матерью попозировать ему, может для следующей книги (вопрос о том, не стоит ли мамаше попозировать одной и в обнаженном виде, поднимался позднее).

– Но ведь обычно это замужние женщины, – говорила Рут отцу.

– Да... я думаю, именно поэтому они так несчастны, Рути.

– Если бы для тебя были так важны твои ню – я имею в виду рисунки, – ты бы приглашал профессиональных натурщиц, – сказала ему Рут. – Но я подозреваю, что тебя всегда больше интересовали женщины, чем твои ню.

– Отцу трудно объяснять дочери некоторые вещи, Рути. Но... если нагота – я хочу сказать, ощущение наготы – и есть то, что должно быть передано с помощью ню, то ни одна нагота не может сравниться с той, которую ощущает женщина, обнажаясь перед кем-то в первый раз.

– Да, о профессиональных натурщицах вопрос закрыт, – сказала Рут. – Господи, папа, неужели тебе это необходимо?

К тому времени она, конечно же, уже знала, что его ничуть не интересовали его ню или портреты матерей с детьми, а потому он даже не хранил их; но он и не продавал их частным образом и не отдавал в свою галерею. Когда очередной роман заканчивался – а заканчивался он обычно очень быстро, – Тед Коул отдавал накопившиеся рисунки последней молодой матери. А Рут задавала себе вопрос: если молодые матери обычно так несчастны в браке – или просто совершенно несчастны, – то может ли этот дар, эти произведения искусства, хотя бы на мгновение сделать их счастливее? Но ее отец никогда не называл свои работы «искусством», и художником он тоже никогда себя не называл. Не называл он себя и писателем.

– Я затейник для детей, Рути, – нередко говорил он.

– И любовник их мамаш, – добавляла она.

Даже в ресторане, когда официант или официантка пялились на его пальцы в чернильных кляксах, это никогда не вызывало у Теда реакции вроде «Я-художник» или «Я-автор-иллюстратор-детских-книг»; скорее уж отец Рут говорил: «Я работаю с чернилами» или – если официант или официантка пялились на его пальцы со слишком уж осуждающим видом – «Я работаю с кальмарами».

В подростковом возрасте (а раз или два – в ее свехкритические студенческие годы) Рут посещала писательские конференции вместе с отцом, который выступал там в роли детского писателя среди более серьезных, как считалось, беллетристов и поэтов. Рут забавляло, что эти последние, излучавшие куда более солидную литературную ауру, чем аура неухоженной красоты и испачканных чернилами пальцев Теда Коула, не только завидовали популярности его книг – этих свехлитературных типов раздражало то, что Коул относится к себе без всякого пиетета, что он представляет себя ужасающим скромником!

– Вы ведь начинали свою литературную карьеру как романист, верно? – мог спросить Теда кто-нибудь из этих свехлитературных типов.

– Но это были ужасные романы, – обычно отвечал отец Рут. – Чудо, что так много рецензентов обратили внимание на первый из них. Хорошо еще, что мне понадобилось написать всего три, чтобы понять, что я – не писатель. Я затейник для детей. И мне нравится рисовать.

В доказательство он поднимал пальцы и при этом всегда улыбался. Что это была за улыбка!

Как-то раз Рут сказала своей товарке по комнате в колледже (она же делила с ней комнату и в академии): «Клянусь, можно расслышать, как женские трусики сами соскальзывают на пол».

Именно на писательской конференции Рут впервые столкнулась с тем фактом, что ее отец спит с одной молодой женщиной – еще моложе, чем сама Рут, студенткой из того же колледжа.

– Я думал, что ты меня одобряешь, Рути, – сказал Тед.

Когда она высказывала ему свое осуждение, он обычно напускал на себя такой жалобный тон, словно она была мамашей, а он – ребенком, что отчасти отвечало действительности.

– Я одобряю тебя? – сердито спросила она его. – Ты соблазняешь девчонку моложе меня и ждешь, что я буду тебя одобрять?

– Но, Рути, она ведь не замужем, – ответил ее отец. – И она еще не мать. Я думал, ты одобряешь это.

В конечном счете писательница Рут Коул так стала говорить о роде занятий своего отца: «Несчастные матери – вот его поле деятельности».

Но каким образом Тед, увидев несчастную мать, узнавал в ней таковую? Так ведь сам Тед (по крайней мере пять первых лет после гибели сыновей) жил с самой несчастной из всех матерей.

Марион, ожидание

Ориент-Пойнт, северная стрелка Лонг-Айленда, выглядит так, как и должен выглядеть, – окончание острова, омываемое водой. Растительность здесь редкая, чахлая из-за соли, согбенная из-за ветров. Песок грубый, перемешанный с ракушками и камушками. В тот июнь 1958 года, когда Марион Коул ожидала паром из Нью-Лондона, который должен был доставить Эдди О'Хару через Лонг-Айлендский пролив, вода стояла низко, и Марион равнодушно отметила, что сваи пристани, обнажившиеся после отлива, влажны. Над той отметкой, выше которой вода не поднималась, сваи были сухи. Над пустой пристанью висел шумный хор чаек, но потом птицы принялись парить над самой водой, которая слегка рябилась и постоянно меняла цвет в изменчивом свете солнца – от синевато-серого до сине-зеленого, а потом снова обретала сероватый оттенок. Парома еще не было видно.

Неподалеку от причала припарковалось около десятка машин. Поскольку солнце то появлялось, то скрывалось за облаками, а с северо-востока задувал ветерок, большинство водителей ждали в машинах. Поначалу Марион стояла рядом с машиной, опершись на переднее крыло, потом она села на крыло, а на капоте раскрыла экземпляр Экзетеровского ежегодника за 1958 год. Вот тогда-то на Ориент-Пойнте на капоте своей машины Марион впервые внимательно рассмотрела недавние фотографии Эдди О'Хары.

Марион ненавидела опаздывать и была неизменно невысокого мнения об опаздывающих. Ее машина была припаркована первой из всех, ожидающих прибытия парома. Еще больше машин стояло на площадке, где люди ждали погрузки на паром, чтобы обратным рейсом отправиться в Нью-Лондон, но Марион не обращала на них внимания. Марион, находясь на публике (что случалось нечасто), редко на кого обращала внимание.

А вот на нее смотрели все. Они просто не могли сдержаться. В тот день на Ориент-Пойнте Марион Коул было тридцать девять. Выглядела она на двадцать девять, а то и немного меньше. Когда Марион сидела на крыле своей машины и пыталась удержать страницы ежегодника, которыми играли порывы северо-восточного ветра, ее красивые и к тому же длинные ноги были по большей части скрыты длинной с запахом юбкой неопределенно бежевого цвета. Однако ничего неопределенного в том, как сидела на ней юбка, не было – сидела она идеально. На Марион была белая футболка на размер-другой больше, чем надо было, а поверх футболки – расстегнутый кашемировый джемпер светло-розового цвета, какой бывает внутри некоторых ракушек, – розовый цвет, более обычный для тропических берегов, чем для чуждого экзотике лонг-айлендского побережья.

Спасаясь от прохладного ветерка, Марион плотно закуталась в расстегнутый джемпер. Футболка сидела на ней свободно, но Марион обхватила себя рукой ниже груди. То, что талия у нее осиная, не вызывало сомнений, очевидно было и то, что груди у нее полные и налитые, но при этом имеют хорошую и естественную форму. Что же до ее волнистых волос длиной до плеч, то в лучах переменчивого солнца они изменяли цвет от янтарного до светло-медового, а ее чуть загоревшая кожа светилась. Она была практически безупречно красива.

Однако при более пристальном взгляде в одном из ее глаз обнаруживалось нечто необычное. Лицо у нее было миндалевидной формы, как и ее темно-голубые глаза. Но в радужке ее правого глаза виднелось ярко-желтое шестиугольное пятнышко. Словно осколок алмаза или кусочек льда попал ей в глаз и теперь постоянно отражал солнце. В определенном свете или под каким-нибудь непредсказуемым углом это желтое пятнышко превращало ее правый глаз из голубого в зеленый. Не менее пугающим был и ее идеальный рот, потому что ее улыбка, когда она улыбалась (а в последние пять лет ее улыбки почти никто не видел), была жестокой.

Листая ежегодник в поисках самых последних фотографий Эдди О'Хары, Марион хмурилась. Год назад Эдди был в туристическом клубе, теперь она его там не нашла. И еще –

в прошлом году ему нравился Юниорский дискуссионный клуб; в этом году он больше не состоял его членом, но при этом не вошел в элитарный кружок шести юношей, именовавшихся командой мудрецов академии. Неужели он просто оставил и туризм, и дискуссионный клуб? – спрашивала себя Марион. Ее мальчиков тоже не интересовали клубы.

Наконец она нашла его среди группки самоуверенного и нагловатого вида парней, которые были издателями (и главными авторами) Экзетерского литературного журнала «Маятник». Эдди стоял в конце среднего ряда, напустив на лицо модное безразличие, словно опоздал к снимку и лишь в последнюю секунду влез в кадр. Если другие позировали, намеренно поворачиваясь к камере профилем, то Эдди смотрел прямо в объектив. Как и на фотографиях ежегодника 1957-го, вызывающая тревогу серьезность и красивое лицо делали его старше, чем на самом деле.

Что же касается «литературности», то единственным ее видимым признаком у него были темная рубашка и еще более темный галстук; такие рубашки обычно не носили с галстуками. (Томасу, насколько то помнила Марион, нравился такой стиль, а Тимоти – более молодому, или более обыкновенному, или и более молодому и более обыкновенному – нет.) При мысли о том, *что* может представлять собой «Маятник», Марион стало тошно: туманные стихи и болезненно автобиографические подростковые истории – претенциозные варианты сочинения на тему «Как я провел лето». Марион считала, что мальчишки такого возраста должны интересоваться спортом. (Томас и Тимоти ничем другим, кроме спорта, не интересовались.)

Внезапно ей стало холодно на этом ветру под облачным небом, а может быть, ей стало холодно по другой причине. Она закрыла ежегодник и села в машину, где снова открыла книгу, положив ее на рулевое колесо. Мужчины, которые заметили, что Марион села в машину, обратили внимание на ее бедра. Они ничего не могли с собой поделать.

Что касается спорта, то Эдди О'Хара продолжал бегать... и все. Она разглядывала его: за год на обеих фотографиях юниорской команды бегунов по пересеченной местности и юниорской команды бегунов по гравийной дорожке он стал пошире в плечах. Почему он все еще бегал? У Марион не было ответа на этот вопрос. (Ее мальчики любили футбол, хоккей, а весной Томас играл в лакросс⁵, а Тимоти пробовал в теннис. Ни один из них не желал играть в любимую игру их отца – единственным видом спорта для Теда был сквош.)

Если Эдди О'Хара остался на юниорском уровне (в беге как по пересеченной местности, так и по гравийной дорожке), то, значит, бегал он не очень быстро или не очень усердствовал. Но независимо от того, как быстро или с каким усердием бегал Эдди, его обнаженные плечи еще раз привлекли неосознанное внимание указательного пальца Марион. Лак на ногте был розовато-перламутровый в цвет помаде, в которой сквозь серебро пробивалось розовое. Возможно, летом 1958 года Марион была самой красивой женщиной в мире.

Хотя она и обводила пальчиком обнаженные плечи Эдди, в этом, ей-богу, не было никакого сексуального интереса. То, что ее маниакальное внимание к молодым мужчинам в возрасте Эдди может обрести сексуальную окраску – это было в то время всего лишь предчувствие, посетившее только одного человека, а именно мужа Марион. Если Тед доверял своим сексуальным инстинктам, то Марион в своих была абсолютно не уверена.

Многие верные жены закрывают глаза на мучительные для них измены своих распутных мужей, даже принимают их; что касается Марион, то она мирилась с распутством Теда, потому что видела: он абсолютно безразличен к своим многочисленным женщинам. Будь у него только одна женщина, надолго очаровавшая его, то Марион, возможно, разошлась бы с ним. Но Тед никогда не пренебрегал ею; после гибели Томаса и Тимоти он особенно старался

⁵ Командная игра, в которой две команды стремятся поразить ворота соперника резиновым мячом, пользуясь ногами и спортивным снарядами.

продемонстрировать ей свою нежность. В конечном счете никто, кроме Теда, не смог бы оценить и понять всю глубину ее скорби.

Но теперь между нею и Тедом установилось кошмарное несоответствие. Даже четырехлетняя Рут заметила, что ее мать печальнее отца. У Марион не было ни малейшей надежды как-то сгладить и другое несоответствие: Тед для Рут был лучшим отцом, чем Марион – матерью. А ведь прежде для своих сыновей Марион всегда была матерью замечательной! В последнее время она стала чуть ли не ненавидеть Теда за то, что тот лучше справляется со своей скорбью, чем она. Марион могла только предполагать: Тед, возможно, ненавидит ее за то, что она скорбит по мальчикам сильнее.

Марион считала, что им не следовало рожать Рут. На каждом этапе своего взросления этот ребенок был мучительным напоминанием соответствующих этапов детства Томаса и Тимоти. Коулам никогда не требовались няньки для сыновей – Марион тогда была идеальной матерью. Но что касается Рут, то тут практически ни дня они не могли обойтись без няньки, потому что хотя Тед всегда демонстрировал готовность посидеть с ребенком, проку от него было мало, когда речь шла о повседневном уходе за девочкой. И если Марион тоже была неспособна исполнять эти обязанности, то она, по крайней мере, знала, в чем они состоят и что кто-то должен их исполнять.

К лету 58-го Марион сама стала главным несчастьем своего мужа. Пять лет спустя после смерти Томаса и Тимоти Марион считала, что ее муж легче переносит смерть сыновей, чем ее присутствие. А еще Марион боялась, что не всегда сможет запрещать себе любить дочь.

«А позволь я себе полюбить Рут, – думала Марион, – то что я буду делать, если что-то случится с ней?» Марион знала, что не перенесет потерю еще одного ребенка.

Тед недавно сказал Марион, что хочет «попробовать разъехаться» на лето, ну просто чтобы посмотреть, не сделает ли это их счастливее. В течение нескольких лет, еще до смерти ее любимых мальчиков, Марион спрашивала себя, не следует ли ей развестись с Тедом. Теперь же он хотел развестись с ней! Если бы они развелись, пока Томас и Тимоти были живы, то не стояло бы и вопроса о том, с кем останутся дети, – это были *ее* мальчики, они бы выбрали ее. Тед никогда бы не смог оспорить столь очевидную истину.

Но теперь... Марион не знала, что делать. Случались моменты, когда она даже помыслить не могла о том, чтобы поговорить с Рут. Вполне понятно, что девочка выбрала бы отца.

«Так что же, – спрашивала себя Марион, – решено?» Он берет все, что осталось: дом, который она любит, но которого не хочет, и Рут, которую она не может или не позволяет себе полюбить. Марион возьмет своих мальчиков. Тед может оставить себе от Томаса и Тимоти то, что запомнил. («Я должна взять все фотографии», – решила Марион.)

Звук паровозного гудка напугал ее. Ее указательный палец, который продолжал обводить контуры голых плеч Эдди О'Хары, слишком сильно надавил на страницу ежедневника – ноготь сломался, и палец стал кровоточить. Она обратила внимание, что ее ноготь пробороздил канавку на плече Эдди. На страницу попала капелька крови, но она тут же сунула палец в рот и отсосала кровь. И только теперь Марион вспомнила: Тед нанял Эдди при условии, что у того есть водительские права, и договорился с ним о летней работе прежде, чем сказал ей, что хочет «попробовать разъехаться».

Паром загудел снова. Звук был такой пронзительный, что донес до нее очевидное: Тед уже некоторое время назад точно решил, что уходит от нее! К удивлению Марион, она, осознав его обман, ничуть не разозлилась; она даже не была уверена, достигает ли ее ненависть к нему того накала, который свидетельствовал бы о том, что когда-то она любила его. Неужели для нее все прекратилось или переменилось со смертью Томаса и Тимоти? До этого момента она предполагала, что Тед на свой манер все еще любит ее, но тем не менее именно он инициировал эту попытку разъехаться, разве нет?

Когда она открыла дверь машины и вышла наружу, чтобы приглядеться к пассажирам, сходящим с парома, тоска сжимала ее сердце с той же силой, с какой сжимала все эти пять лет, но в голове у нее было ясно, как никогда. Она отпустит Теда, она даже отдаст ему дочь. Она бросит их до того, как у Теда будет возможность бросить ее. Направляясь к причалу, Марион думала: «Все, кроме фотографий». Для женщины, которая только что пришла к таким серьезным решениям, шаг у нее был слишком уж ровный. Всем, кто видел ее, она казалась абсолютно безмятежной.

Первый водитель, съезжавший с парома, был идиотом. Его так ошеломила красота женщины, идущей ему навстречу, что он свернул с дороги на каменистый песок берега; он еще не знал, что будет целый час выбиратья оттуда, но даже когда и понял это, не мог оторвать глаз от Марион. Он ничего не мог с собой поделать. Марион не заметила этого происшествия – она шла себе и шла вперед неторопливым шагом.

Всю свою будущую жизнь Эдди О'Хара будет верить в судьбу. Ведь не успел он ступить на берег, как увидел Марион.

Эдди скучает и возбуждается

Бедный Эдди О'Хара. Оказавшись вместе с отцом где-нибудь на публике, он неизменно погружался в состояние ступора. Не были исключением и долгая поездка Эдди до причала в Нью-Лондоне, и долгое, как показалось, ожидание (вместе с отцом) парома из Ориент-Пойнта. В Экзетере привычки Мятного О'Хары были не менее известны, чем его мятные леденцы. Эдди свыкся с мыслью о том, что и учащиеся и преподаватели бесстыдно бросались прочь, завидев его отца. Способность старшего О'Хары наводить тоску на аудиторию – любую аудиторию – стала притчей во языцех. Редко кому удавалось не заснуть на лекциях Мятного – число учащихся, усыпленных старшим О'Харой, было баснословным.

Метод усыпления, которым пользовался Мятный, не подразумевал никаких изысков – цель достигалась простыми повторами. Он зачитывал вслух касавшиеся ему существенными отрывки из заданного на дом произведения (когда предполагалось, что материал еще свеж в головах учеников). Однако свежесть в их головах заметно увядала по мере продолжения урока, потому что Мятный всегда находил много существенных отрывков, а вслух он их зачитывал с чувством и расстановкой, с паузами, повторяющимися для вящего эффекта; для рассасывания мятных леденцов требовались более длительные паузы. Бесконечные повторы этих навязших в зубах отрывков практически не сопровождались их обсуждением, а это отчасти объяснялось тем, что никто не мог оспорить явную важность каждого из этих отрывков. Сомнение вызывала разве что необходимость зачитывать их вслух. За стенами класса метод преподавания английского, используемый Мятным, так часто становился предметом обсуждения, что Эдди О'Харе нередко казалось, будто и для него уроки отца были адской мукой, что на самом деле не соответствовало действительности.

Адские муки выпадали на долю Эдди в других местах. Он был благодарен судьбе за то, что с самого раннего детства питался по большей части в школьной столовой – сначала за преподавательским столом вместе с членами семей других преподавателей, а позднее – с одноклассниками. А потому каникулы были единственным временем, когда О'Хары всем семейством обедали дома. Обеды, регулярно даваемые Дот О'Хара (хотя лишь немногие преподавательские пары удостоивались ее одобрения), были совсем другой историей. Эдди на этих приемах не скучал, потому что, по воле родителей, его присутствие на них ограничивалось самым коротким появлением вначале – это была своего рода дань вежливости.

Но на семейных обедах во время школьных каникул Эдди в полной мере подвергался отупляющему воздействию идеального брака его родителей: они друг другу никогда не могли наскучить, потому что никогда друг друга не слушали. Обращались они между собой с заботливой вежливостью; мама позволяла папе говорить сколько угодно, а потом наступала ее очередь – и ее предмет почти всегда никак не был связан с тем, о чем говорил отец. Разговор мистера и миссис О'Хара был шедевром алогичности; Эдди, не участвовавший в этих разговорах, мог развлекаться, разве что строя догадки: останется ли в памяти собеседников хоть что-нибудь из сказанного другим.

Как раз перед его отъездом на паром, направляющийся к Ориент-Пойнту, и выдался один из таких вечеров в их доме в Экзетере. Школьный год закончился, актовый день прошел, и Мятный О'Хара философствовал на тему того, что он именовал «поведенческой леностью» учеников во время весеннего семестра.

– Я знаю, у них на уме уже летние каникулы, – сказал, возможно уже в сотый раз, Мятный. – Я понимаю, что возвращение теплой погоды уже само по себе располагает к праздности, но уж не к такой праздности, какую я наблюдал этой весной.

Его отец произносил подобные сентенции каждую весну, и уже сами эти сентенции вызвали какое-то жуткое оцепенение у Эдди, которому как-то раз пришла в голову мысль: а не

кроется ли причина его единственного спортивного увлечения в том, что бег – это своего рода попытка убежать от голоса его отца, от его предсказуемых модуляций, как у циркульной пилы на лесопилке.

Мятный еще не успел закончить – отец Эдди, казалось, никогда не успевал закончить, – но, по крайней мере, остановился, чтобы перевести дыхание или проглотить то, что положил в рот, как начала мать Эдди.

– Будто не было достаточно того, что мы всю зиму наблюдали, как миссис Хейвлок расхаживает без бюстгалтера, – начала Дот О’Хара, – теперь, когда снова потеплело, мы должны страдать оттого, что она не бреет волосы под мышками. А о бюстгалтере речь по-прежнему не идет. Только на этот раз, кроме отсутствия бюстгалтера, мы имеем еще и небритые подмышки! – заявила мать Эдди.

Миссис Хейвлок была новенькой преподавательской женой, и, по крайней мере, в таком качестве она представляла для Эдди и многих экзетерских мальчишек больший интерес, чем другие жены. И то, что миссис Хейвлок не носила бюстгалтера, для мальчишек было плюсом. Она не была хороша собой – довольно пухленькая, простоватая, но ее молодое пышное цветение привлекало к ней учеников и тех преподавателей, которые никогда бы не признались в своей слабости. Летом 58-го, до начала эпохи хиппи, тот факт, что миссис Хейвлок не носит бюстгалтера, был как необычным, так и примечательным. Мальчишки между собой называли ее Плясунчик. Счастливчику мистеру Хейвлоку, которому мальчишки сильно завидовали, они демонстрировали беспрецедентное уважение. Эдди, которому, как и всем остальным, нравились пляшущие груди миссис Хейвлок, досаждала бессердечная неприязнь матери к Плясунчику.

А теперь еще и заросшие подмышки; Эдди вынужден был признать, что этот предмет был причиной серьезного разочарования среди менее умудренных учеников. В те дни в Экзетере были мальчишки, которые, казалось, не знали, что женщины могут отращивать волосы под мышками, – а может, эти мальчишки сильно расстроились, размышляя о том, зачем кому-то из женщин это могло понадобиться. Однако для Эдди волосы под мышками миссис Хейвлок были еще одним свидетельством безграничной способности этой женщины давать наслаждение. В легком летнем платье без рукавов миссис Хейвлок исполняла пляску своими грудями, а еще была волосата под мышками. С началом теплой погоды многие мальчишки стали называть ее не только Плясунчиком, но и Пушистиком. Каким бы именем ее ни называли, любое упоминание о ней вызывало у Эдди О’Хары стойкую эрекцию.

– Теперь еще не хватало нам узнать, что она перестала брить ноги, – сказала Дот О’Хара.

Это соображение воистину заставило Эдди задуматься, хотя он решил не спешить с вынесением окончательного суждения, пока не увидит своими глазами и не убедится, что вид волосатых ног миссис Хейвлок может доставить ему удовольствие.

Поскольку мистер Хейвлок был коллегой Мятного по английскому отделению, Дот О’Хара высказала мнение, что ее муж должен поговорить с ним о полной неприемлемости подобного «богемного поведения» его жены в мужской школе. Но Мятный, хотя и мог пере-занудить любого зануду, прекрасно понимал, что не следует давать советы другим мужчинам о том, как должны одеваться или в каких местах бриться (или не бриться) их жены.

– Моя дорогая Дороти, – только и смог сказать Мятный, – миссис Хейвлок – европейка.

– Не понимаю, что это должно означать! – ответила мать Эдди.

Но отец Эдди уже вернулся – с таким любезным видом, будто его и не прерывали, – к предмету весенней ученической лености. Таким был бесконечный и бессвязный разговор его родителей, от которого, казалось, цепенел и сгущался сам воздух.

Иногда другие ученики спрашивали у Эдди:

– Слушай, а как настоящее имя твоего отца?

Они знали старшего О'Хару только как Мятного, а если называли его в лицо, то – мистер О'Хара.

– Джо, – отвечал Эдди. – Джозеф Э. О'Хара.

Аббревиатура Э. означала «Эдвард» – единственное имя, каким называл его отец.

– Я дал тебе имя Эдвард не для того, чтобы звать тебя Эдди, – периодически говорил ему отец.

Но все остальные, даже мать, называли его Эдди. Эдди надеялся, что когда-нибудь станет достаточно и простого Эд.

Во время последнего обеда, перед тем как ему отправиться на его первую летнюю работу, Эдди пытался вставить что-то свое в бесконечный, бессвязный разговор родителей, но из этого ничего не получилось.

– Я сегодня был в физкультурном зале и встретился там с мистером Беннетом, – сказал Эдди.

Мистер Беннет в течение последнего года был преподавателем Эдди по английскому. Эдди был очень ему благодарен: его курс включал некоторые из лучших книг, какие Эдди доводилось читать.

– Я так думаю, нам еще предстоит видеть ее подмышки все лето на пляже. Боюсь, не смогу сдержаться – я таки скажу ей, что об этом думаю, – заявила мать Эдди.

– Я даже немного поиграл в сквош с мистером Беннетом, – добавил Эдди. – Я ему сказал, что мне всегда хотелось попробовать, и он не пожалел времени – постучал со мной мячом несколько минут. Мне понравилось – я даже не думал, что это так здорово.

Мистер Беннет в дополнение к своим обязанностям преподавателя английского языка и литературы был еще и тренером по сквошу, причем довольно успешным. Постучать по мячу – для Эдди это было чем-то вроде откровения.

– Я думаю, решить проблему можно, укоротив рождественские каникулы и удливив весенние, – сказал его отец. – Я знаю, школьный год тянется долго, но ведь должен быть какой-то способ вернуть ребят к жизни весной, вдохнуть в них чуть больше энергии – чуточку их подтолкнуть, чтобы у них голова заработала.

– Я думал, не позаниматься ли мне год сквошем – я хочу сказать, на будущий год зимой, – сообщил Эдди. – Осенью я бы еще позанимался кроссом. А весной можно было бы вернуться на гаревую дорожку...

На секунду возникло ощущение, что слово «весна» завладело вниманием отца, но Мятного интересовала только весенняя лень.

– Может, у нее от бритья раздражение, – задумчиво сказала Дот О'Хара. – Но у меня тоже иногда бывает раздражение, но ведь это не повод, чтобы не брить под мышками.

Потом Эдди мыл посуду, а его родители тем временем продолжали свой разговор. Перед тем как отправиться спать, его мать спросила у отца:

– А что это он говорил о сквоше? Что там насчет сквоша?

– Что говорил *кто*? – спросил его отец.

– Эдди! – ответила его мать. – Эдди что-то говорил о сквоше и мистере Беннете.

– Он тренер по сквошу, – сказал ей Мятный.

– Джо, да это я знаю!

– Моя дорогая Дороти, в чем же твой вопрос?

– Что говорил Эдди о сквоше? – повторила Дороти.

– И что же он говорил? – сказал Мятный.

– Нет, Джо, я иногда спрашиваю себя: ты вообще слушаешь, что тебе говорят?

– Моя дорогая Дороти, я весь обращаюсь в слух, когда мне что-то говорят, – сказал ей старый зануда.

Они оба неплохо посмеялись над этим. Они еще продолжали смеяться, когда Эдди совершал необходимые приготовления ко сну. Внезапно он почувствовал такую усталость – такую лень, догадался он, – что казалось немыслимым сделать малейшее усилие, чтобы объяснить родителям, что он имел в виду. Если их брак был удачным, а, судя по всему, именно таким он и был, то Эдди мог себе представить, что же такое неудачный брак. Он и не подозревал, что очень скоро у него будет возможность во всех подробностях узнать, что же такое плохой брак.

Дверь в полу

По дороге в Нью-Лондон (а это путешествие было спланировано с дотошной скрупулезностью – как и Марион, они выехали из дома с большим запасом времени, чтобы наверняка успеть на паром) отец Эдди заблудился вблизи Провиденса.

– Ну, так чья это ошибка – пилота или штурмана? – весело спросил Мятный. Ошибка была общая. Отец Эдди говорил столько, что на дорогу обращал мало внимания; Эдди, который был «штурманом», предпринимал такие усилия, чтобы не уснуть, что забыл о карте. – Хорошо, что мы выехали с запасом, – добавил его отец.

Они остановились на заправке, где Джо О'Хара по мере сил предпринял попытку завязать разговор с представителем рабочего класса.

– Ну и как вам такая неприятность? – спросил старший О'Хара на заправке у оператора, который показался Эдди слегка недоразвитым. – Перед вами два экзонианца в поисках нью-лондонского парома на Ориент-Пойнт.

Эдди обмирал каждый раз, слыша, как его отец заговаривает с незнакомыми людьми. (Кто, кроме экзонианца, мог знать, что такое экзонианец?) Оператор, словно впад в мимолетную кому, уставился на масляное пятно рядом с правой туфлей Мятного.

– Вы на Род-Айленде.

Вот все, что смог выдавить из себя несчастный.

– А вы можете показать нам дорогу на Нью-Лондон? – спросил Эдди.

Когда они снова вернулись на дорогу, Мятный принялся читать Эдди лекцию о широко распространенной замкнутости, которая нередко является следствием недостатков всеобщего среднего образования.

– Оупление – вещь ужасная, Эдвард, – нравоучительно сообщил ему отец.

Они прибыли в Нью-Лондон с большим запасом, и Эдди вполне мог отправиться в Ориент-Пойнт более ранним паромом.

– Но тогда тебе придется совсем одному ждать в Ориент-Пойнте! – указал сыну Мятный.

Ведь Коулы ожидали прибытия Эдди на более позднем пароме. Когда Эдди понял, насколько было бы для него лучше ждать в Ориент-Пойнте одному, более ранний паром уже ушел.

– Первое океанское путешествие моего сына, – сказал Мятный продававшей билеты женщине с огромными руками. – Это не «Королева Елизавета» и не «Королева Мария». Это не семидневное плавание. Это не Саутгемптон, как в Англии, и не Шербур, как во Франции. Но когда тебе шестнадцать, то морское путешествие до Ориент-Пойнта – это тоже немало!

Женщина снисходительно улыбнулась сквозь свои складки жира, и хотя рот ее лишь чуть-чуть растянулся в улыбке, можно было увидеть, что у нее не хватает нескольких зубов.

Потом, стоя на набережной, отец Эдди принялся разглагольствовать об излишествах в питании, которые нередко являются следствием недостатков всеобщего среднего образования. Отъехав всего ничего от Экзетера, они увидели немало людей, которые были бы счастливее или стройнее (или и то и другое), если бы только у них было достаточно денег, чтобы получить образование в академии.

Время от времени отец Эдди вдруг ни с того ни с сего вкраплял в свою речь полезные советы, касающиеся грядущей летней работы сына.

– Не нервничай от того только, что он – знаменитость, – сказал вдруг совершенно не к месту старший О'Хара. – Вообще-то он не такая уж крупная литературная фигура. Примечай, что сможешь. Обращай внимание на его писательские привычки, попытайся понять, есть ли какой-либо метод в его безумии, – ну и всякое такое.

По мере приближения парома, на котором должен был отправиться в путь Эдди, совершенно неожиданно именно Мятный вдруг озабочился грядущей работой сына.

Сначала на паром подали грузовики, и первым в очереди был грузовик, полный свежих клемов⁶, а может, он был пустой и отправлялся за партией свежих клемов. В любом случае, пахло от него клемами далеко не первой свежести, и водитель этого грузовика, который в ожидании причаливающего парома курил сигарету, прислонясь к усеянной битыми мухами решетке радиатора, пал следующей жертвой разговорных экспромтов Джо О'Хары.

– Мой сынишка направляется на свою самую первую работу, – сообщил Мятный, и Эдди обмер еще раз.

– Ну да? – ответил водитель грузовика.

– Он будет работать секретарем у писателя, – заявил отец Эдди. – Понимаете, мы не знаем в точности, каков будет круг его обязанностей, но, несомненно, это будет что-нибудь поважнее заточки карандашей, замены ленты в пишущей машинке и выискивания в словарях трудных слов, в написании которых сомневается даже писатель! Я рассматриваю эту работу как возможность приобретения ценного опыта, чем бы эта работа ни обернулась в реальности.

Водитель грузовика, внезапно исполнившись благодарности за ту работу, которая у него есть, сказал:

– Удачи тебе, парень.

В последнюю минуту, перед самой посадкой Эдди на паром, его отец метнулся к машине, а потом назад.

– Чуть не забыл! – крикнул он, протягивая Эдди толстый конверт, перехваченный резиновой лентой, и пакет, по размеру и мягкости, возможно, содержавший хлеб. Упаковка была подарочная, но что-то смяло ее на заднем сиденье машины, и подарок этот выглядел заброшенным, ненужным.

– Это для малышки – мы с мамой подумали и об этом, – сказал Мятный.

– Какой малышки? – спросил Эдди.

Он прижал конверт и подарок к груди подбородком, потому что его руки были заняты тяжелой дорожной сумкой и более легким, меньшего размера чемоданом. Так он и поднимался на борт.

– У Коулов есть маленькая девочка, ей, кажется, года четыре! – прокричал Мятный.

Громыхали цепи, пытел двигатель, время от времени раздавался гудок парома, другие люди прощались, пытаясь перекрыть все эти шумы.

– Они родили нового ребенка вместо погибших! – вопил отец Эдди.

Это, казалось, привлекло внимание даже водителя грузовика, который припарковал свою машину на борту и теперь стоял, облокотясь о перила верхней палубы.

– Вот как, – сказал Эдди. – До свидания! – прокричал он.

– Я люблю тебя, Эдвард, – проревел его отец.

После этого Мятный О'Хара начал плакать. Эдди никогда не видел отца плачущим, но Эдди никогда до этого не покидал дома. Может быть, плакала и его мать, но Эдди этого не заметил.

– Будь осторожен, – стenal его отец.

Пассажиры, стоявшие у борта на верхней палубе, теперь все глазели на них.

– Берегись ее! – возопил его отец.

– Кого? – прокричал Эдди.

– Ее! Я говорю о миссис Коул! – воскликнул старший О'Хара.

– Почему? – крикнул Эдди.

Паром отчаливал, пристань уходила назад, надрывался гудок.

⁶ Клемы – съедобные морские моллюски.

– Я слышал, что она так и не оправилась! – проревел Мятный. – Она зомби!

«Ну конечно – выпался: сказать мне об этом только теперь!» – подумал Эдди.

Но в ответ он только махнул на прощание рукой. Он и понятия не имел, что так называемая зомби будет встречать его в Ориент-Пойнте. Он еще не знал, что мистер Коул лишен водительских прав. Эдди был раздосадован тем, что отец не позволил ему вести машину до Нью-Лондона на том основании, что «движение там совсем иное, чем в Экзетере». Эдди видел отца на уменьшающемся в размерах берегу Коннектикута. Мятный отвернулся, закрыв лицо руками, – он плакал.

Что он этим хотел сказать – «зомби»? Эдди думал, что миссис Коул похожа на его мать или на всех других ничем не примечательных преподавательских жен, кругом которых и ограничивались его знания о женщинах. Если бы удача улыбнулась ему, то миссис Коул могла оказаться «дамочкой богемного поведения», хотя Эдди и не отваживался надеяться, что встретит в ее лице женщину, которая может доставлять столько вуайеристских радостей, сколько доставляла ему миссис Хейвлок.

В 1958 году если Эдди думал о женщинах, то его воображение не шло дальше волосатых подмышек и пляшущих грудей. Что касается девушек его возраста, то с ними Эдди терпел одни неудачи, а еще они нагоняли на него страх. Поскольку он был преподавательский сынок, то встречался он (число этих встреч можно было пересчитать по пальцам) с девушками из городка Экзетер – это были робкие знакомства еще тех дней, когда он учился в обычной средней школе⁷. Эти городские девушки теперь обогнали его в развитии, к тому же обычно они настороженно относились к мальчишкам, учившимся в академии, что было вполне понятно, поскольку они ожидали от них высокомерного отношения к себе.

На воскресных танцах в Экзетере неместные девушки казались Эдди недоступными. Они приезжали на поездах и автобусах нередко из других школ-интернатов или из больших городов вроде Бостона и Нью-Йорка. Они были гораздо лучше одеты и внешне больше походили на женщин, чем преподавательские жены, за исключением миссис Хейвлок.

Прежде чем уехать из Экзетера, Эдди перелистал ежегодник 53-го года в поисках фотографий Томаса и Тимоти Коулов – это была последняя книга, в которой они присутствовали. То, что он там увидел, нагнало на него страха. Эти парни не принадлежали ни к одному клубу, но зато Томас был сфотографирован в обеих старших командах – футбольной и хоккейной, не отставал от него и его брат, которого фотокамера запечатлела в юниорской футбольной и хоккейной командах. Напугало Эдди не то, что они могли бить по мячу и кататься на коньках; его напугало количество снимков, на которых присутствовали оба парня, – на многих непостановочных фотографиях, составлявших суть ежегодников, на всех тех фотографиях, которые были сняты, когда ученики явно получали удовольствие. На всех них Томас и Тимоти откровенно наслаждались жизнью. Они были счастливы – вот что понял Эдди.

Куча-мала в курилке спального корпуса (любимое развлечение курильщиков), дуракаваляние на костылях, подростки, красующиеся перед камерой с лопатами для разгребания снега, игра в карты... Томас нередко с сигаретой в уголке красивого рта. А на фотографиях, снятых во время воскресных танцев в академии, Коулы всегда оказывались в парах с самыми красивыми девушками. Была одна фотография, на которой Тимоти не танцевал – он просто обнимал свою партнершу. На еще одной фотографии Томас целовал какую-то девушку – они были под открытым небом в морозный, снежный день, оба в шерстяных пальто, Томас подтягивает девушку к себе, накинув ей на шею шарф. Да, эти ребята были ох как популярны! (И они умерли.)

⁷ В Экзетер принимают подростков, закончивших восемь классов обычной средней школы.

Паром миновал нечто похожее на судостроительные верфи; в сухих доках стояли несколько военно-морских судов, другие стояли в воде. Отдаляясь от суши, паром миновал один или два маяка. Дальше в проливе яхт было куда меньше. День стоял жаркий, и над сушей висела дымка (даже рано утром, когда Эдди покидал Экзетер), но на воде северо-западный ветер нес прохладу, а солнце то скрывалось за облаками, то появлялось вновь.

На верхней палубе Эдди, все еще продолжавший бороться с тяжелой дорожной сумкой и меньшим по размерам, более легким чемоданом (не говоря уже о помятом подарке для малышки), решил перепаковать. Обертка подарка пострадала еще больше, когда Эдди засунул его на дно сумки, но теперь, по крайней мере, ему не нужно было прижимать пакет подбородком к груди. А еще ему были нужны носки; с утра он надел мокасины без носков, но теперь ноги у него замерзли. Еще он надел хлопчатобумажный свитер поверх футболки. Только теперь, в свой первый день вне академии, он понял, что на нем экзетерская футболка и экзетерский свитер. Эдди смутился – ему показалось, что это бесстыдная реклама уважаемой им школы, и вывернул свитер наизнанку. Только сейчас понял он, почему некоторые старшеклассники академии носили свои экзетерские свитера вывернутыми наизнанку; такое новое понимание этой высокой моды свидетельствовало, что Эдди и в самом деле готов к встрече с так называемым реальным миром, при условии, что и на самом деле существует такой мир, в котором экзонианцам рекомендуется оставить позади свой экзетерский жизненный опыт (или вывернуть его наизнанку).

Еще немного уверенности придавало Эдди и то, что на нем были джинсы, хотя мать и говорила ему, что светлые полотняные брюки будут более «уместны»; Тед Коул писал Мятному, что парнишка может забыть о пиджаках и галстуках (летняя работа Эдди не требовала того, что Тед называл «экзетерская форма»), но отец Эдди настоял, чтобы тот взял с собой несколько рубашек и галстуков, а еще пиджак, который, как уверял Мятный, «подходит на все случаи жизни».

Только перепаковываясь на верхней палубе, обратил Эдди внимание на толстый конверт, врученный ему без всяких объяснений отцом, что уже само по себе было странно – его отец объяснял все. На конверте был напечатан обратный адрес: Экзетерская академия Филипса, и от руки аккуратным почерком отца написано «О'ХАРА». В конверте был список с именами и адресами всех экзонианцев, живущих в Гемптонах. Человек должен быть готов к любой неожиданности, а в понимании старшего О'Хары это значило: ты можешь позвонить любому экзетерскому выпускнику и попросить о помощи! Пробежав список взглядом, Эдди понял, что не знает в нем ни одной фамилии. Там было шесть фамилий с саутгемптонскими адресами, большинство из них выпуска тридцатых и сороковых годов; один старик выпуска 1919-го явно уже был в пенсионном возрасте и вряд вообще помнил, что когда-то учился в Экзетере. (На самом деле этому человеку было всего пятьдесят семь.)

Еще три или четыре экзонианца жили в Ист-Гемптоне, только двое в Бриджгемптоне и Саг-Харборе, и один или двое других – в Амагансетте, Уотер-Милле и Сагапонаке; Эдди знал, что в Сагапонаке жили Коулы. Он был ошарашен. Неужели его отец ничего не знает о своем сыне? Эдди ни за что в жизни не обратился бы ни к кому из этих незнакомых людей, даже если бы оказался в самой отчаянной ситуации. Экзонианцы! Он чуть ли не выкрикнул это слово вслух.

Эдди знал много преподавательских семей в Экзетере; большинство из них, не принимая на веру легенду о достоинствах академии, не раздували безмерно и значение понятия «экзонианец». Это неправильно, что его отец, без всяких на то оснований, заставил Эдди ощутить ненависть к Экзетеру; на самом деле парень понимал, что ему повезло учиться в этой школе. Он сомневался, что прошел бы вступительные тесты, если бы не был преподавательским сыном, и он чувствовал себя вполне в своей тарелке, настолько в своей тарелке, насколько может

чувствовать себя парень, безразличный к спорту, в мужской школе. И в самом деле, с учетом страха Эдди перед девчонками его возраста, он был очень даже рад учиться в мужской школе.

Например, он осмотрительно мастурбировал только на собственное полотенце или махровую мочалку, которую потом тщательно споласкивал и вешал назад в семейную ванну; и он старался не замусолить страницы материнских каталогов, по которым заказывалась женская одежда, – помещенные там фотографии моделей нижнего белья давали ему всю ту визуальную пищу, которой требовало его воображение. (Больше всего его привлекали фотографии зрелых женщин в нижнем белье.) Но он вполне мог управляться и без каталогов, мастурбируя в темноте, в которой он словно бы ощущал кончиком языка солоноватый вкус волосатых подмышек миссис Хейвлок и в которой ее пышные груди становились мягкими податливыми подушками – на них покоилась и убаюкивалась его голова: это часто ему снилось. (Миссис Хейвлок, несомненно, выполняла сию важную функцию для бесчисленного количества экзонианцев, учившихся в академии в годы ее – миссис Хейвлок – расцвета.)

Но в каком смысле миссис Коул – зомби? Эдди смотрел, как водитель грузовика с клемами поглощает хот-дог, запивая его пивом. Хотя Эдди и испытывал чувство голода – он не ел с раннего завтрака, – небольшая бортовая качка парома и запах топлива не располагали к еде или питью. Временами верхняя палуба вздрагивала, и весь паром раскачивался. Ко всему этому добавлялось и не лучшим образом выбранное им место – дым из трубы сносил ветром прямо на него. Он понемногу начал зеленеть. Он почувствовал себя лучше, пройдясь по палубе, и совсем воспрял духом, когда нашел мусорную урну, куда выкинул конверт со списком и адресами всех живых экзонианцев, обитающих в Гемптонах.

И тогда Эдди совершил поступок, за который ему потом почти не было стыдно: он подошел к тому месту, где водитель грузовика с клемами со страдальческим видом переваривал хот-дог, и отважно извинился за отца. Водитель подавил подступившую было к горлу отрыжку.

– Не переживай, малыш, – сказал водитель. – У нас у всех есть родители.

– Да, – ответил Эдди.

– И потом, – с философским видом сказал водитель, – он, наверно, просто беспокоится о тебе. По мне, так это работенка та еще – секретарь писателя. Не очень я понимаю, что ты там должен будешь делать-то?

– И я тоже, – признался Эдди.

– Хочешь пива? – предложил водитель, но Эдди вежливо отказался; теперь, когда он стал чувствовать себя лучше, снова зеленеть ему не хотелось.

Эдди решил, что на верхней палубе нет ни женщин, ни девушек, достойных его внимания, однако водитель грузовика с клемами явно был на сей счет другого мнения – он пошел бродить по парому, внимательно разглядывая всех женщин и девушек. Эдди обратил внимание на двух девушек, которые переправлялись на пароме с машиной; они никого не замечали вокруг и хотя были едва ли старше Эдди (а если старше, то не больше чем на год-два), но было очевидно, что они считают его для себя слишком юным. Эдди только раз и посмотрел на них.

К нему подошла пара европейцев и на плохом английском попросила сфотографировать их на носу парома – они сообщили, что у них медовый месяц. Эдди с удовольствием их сфотографировал. И только потом ему пришло в голову, что если эта женщина европейка, то у нее, возможно, небритые подмышки. Но на ней была блуза с длинными рукавами, и определить, носит ли она бюстгальтер, Эдди тоже не смог.

Он вернулся к своей тяжелой сумке и чемодану поменьше. В чемодане были только его спортивный пиджак «на все случаи жизни» и рубашки с галстуками. Весил этот чемодан всего ничего, но мать сказала ему, что его «хорошая», как она ее называла, одежда в отдельном чемодане наверняка не помнется. (Чемодан паковала мать.) В сумке находилось все осталь-

ное – одежда, которую хотел взять он, его блокноты и несколько книг, рекомендованных ему мистером Беннетом (безусловно, любимейшим его преподавателем литературы).

Эдди не взял полное собрание сочинений Теда Коула. Он его уже прочитал. Какой был смысл тащить с собой эти книги? Единственным исключением был семейный экземпляр «Мыши за стеной» – отец Эдди настоял, чтобы тот взял эту книжку и привез автограф мистера Коула, – и еще одна книжка, которую Эдди любил больше всех, написанных Тедом для детей. Как у Рут, у Эдди была своя любимая книжка, но это была не знаменитая «Мышь за стеной». Любимой книжкой Эдди была «Дверь в полу» – читая ее, он чуть не рехнулся от страха. Он не удосужился посмотреть на дату копирайта, иначе бы знал, что «Дверь в полу» – первая книга Теда Коула, опубликованная после смерти его сыновей. А если так, то эта книга, видимо, далась ему нелегко, и она явно несла в себе некоторую долю ужаса, пережитого Тедом в эти дни.

Если бы издатель не сочувствовал Теду из-за несчастья, произошедшего с его детьми, то книжку, скорее всего, отвергли бы. Критики были почти единодушны в скептической оценке этой книги, которая, кстати, продавалась ничуть не хуже других книжек Теда. Сама Дот О'Хара сказала, что читать такую книжку вслух любому ребенку было бы непристойностью, граничащей с насилием. Но Эдди был очарован «Дверью в полу», которая фактически стала культовой в кампусах, – вот мера того, насколько она была достойна осуждения.

На пароме Эдди листал «Мышь за стеной». Он читал эту книгу столько раз, что знал ее чуть ли не наизусть; он смотрел только на иллюстрации, которые нравились ему больше, чем основной массе обозревателей. В лучшем случае обозреватели говорили, что иллюстрации «полезные» или «неназойливые». Чаще они высказывались негативно, но в меру. (Например: «Иллюстрации хотя и не ухудшают рассказов, но мало что к ним добавляют и оставляют читателю надежду, что в следующий раз будет лучше».) И тем не менее Эдди эти рисунки нравились.

Воображаемый монстр полз за стеной – страшный, без рук, без ног, он полз, цепляясь зубами и скользя на своей шкуре. Но еще лучше было изображение страшного платья в маминном стенном шкафу – платье ожило и пыталось сползти с вешалки. У платья была одна нога – босая нога, – вылезавшая из-под подола, и ладонь, одна только ладонь с запястьем, высовывавшаяся из рукава. Но страшнее всего – контуры единственной груди, словно подпирающей платье изнутри, словно внутри платья образовывалась женщина (или только некоторые ее части).

В книге не было ни одного рисунка, который успокоил бы читателя изображением настоящей мыши, крадущейся за стеной. На последней иллюстрации был изображен младший из мальчиков, который лежит без сна в кровати, испуганный приближающимся звуком. Своей маленькой ручкой мальчик ударяет по стене, чтобы испугать мышь. Но мышь не только ничуть не пугается и не удирает прочь: она непропорционально огромна. Она не только больше двух мальчиков вместе, она больше изголовья кровати, больше самой кровати вместе с изголовьем.

А любимую свою книжку Теда Коула Эдди вытащил из сумки и перечитал еще раз, прежде чем паром причалил к пристани. Сюжет «Двери в полу» никогда не был любимой историей Рут; отец эту историю ей не рассказывал, а прочесть ее сама она смогла лишь через несколько лет. Она ее возненавидела.

В книге была изящная, хотя и довольно откровенная иллюстрация, изображающая нерожденного ребенка в чреве матери. «Жил да был один маленький мальчик, который не знал, хочет ли он родиться, – начиналась книга. – Его мама тоже не знала, хочет ли она, чтобы он родился.

И все это потому, что жили они в лесной хижине на острове посреди озера и вокруг больше никого не было. А в хижине была дверь в полу.

И маленький мальчик боялся того, что может находиться под этой дверью в полу, и его мама тоже боялась. Когда-то, задолго до этого, другие дети приходили в эту хижину на Рож-

дество, но потом они открыли дверь в полу и исчезли в дыре внизу, а вместе с ними исчезли и все их подарки.

Как-то раз мама попыталась поискать детей, но когда она открыла дверь в полу, то услышала такой жуткий звук, что волосы у нее сразу же побелели и стали как волосы призрака. И еще она почувствовала такой ужасный запах, что кожа у нее стала морщинистая, как резина. После этого кожа у мамы разгладилась, а волосы снова стали как прежде только через год. И еще, когда мама открыла дверь в полу, она увидела там такие ужасы, что больше ни за что не хотела видеть их снова; например, там было что-то вроде змеи, которая может так сжиматься, что пролезет хоть через щель между полом и дверью (даже когда дверь закрыта), а потом – так увеличиваться в размерах, что может унести всю хижину у себя на спине, словно змея – это гигантская улитка, а хижина – раковина». (От этой иллюстрации Эдди О'Хара нередко мучили кошмары, и не в те дни, когда Эдди был младенцем, а когда ему уже исполнилось шестнадцать!)

«Другие существа под дверью в полу такие ужасные, что их можно себе только представить». (В книге было и изображение этих ужасных существ – совершенно неопишемое.)

«А потому мама не знала, хочет ли она рожать маленького мальчика в лесной хижине на острове посредине озера, где вокруг никого нет. А особенно она не хотела рожать его из-за всего того, что может быть под дверью в полу. Потом она подумала: «А почему, собственно, нет? Я просто скажу ему, чтобы он не открывал эту дверь в полу!»

Ну, маме сказать это нетрудно, но как насчет маленького мальчика? Он по-прежнему не знал, хочет ли родиться в мир, где в полу есть дверь, а вокруг никого нет. Но в лесу, на острове и в озере водились и кое-какие красивые существа». (Здесь были изображения совы, уток, которые плыли к берегу острова, и пары гагар, плещущихся в тихой воде.)

«„Может, стоит рискнуть?“ – подумал маленький мальчик. И вот он родился и не пожалел о том, что сделал это. Его мама тоже была счастлива, хотя и говорила маленькому мальчику по меньшей мере раз в день: «Никогда, ты слышишь меня: никогда, никогда, никогда не открывай эту дверь в полу!» Но он, конечно же, был всего лишь маленьким мальчиком. А если ты маленький мальчик, то разве тебе не захочется открыть эту дверь в полу?»

И вот на этом, думал Эдди О'Хара, история заканчивается, даже не подозревая, что в настоящей истории маленький мальчик был маленькой девочкой. Звали ее Рут, и ее мать не была счастлива. И была совсем другая дверь в полу, о которой не знал Эдди... пока не знал.

Паром миновал Плам-Гат, и теперь Ориент-Пойнт был уже ясно виден.

Эдди внимательно рассмотрел фотографии Теда Коула на обложках. Фотография на заднике «Двери в полу» была более поздняя, чем на «Мыши за стеной». На обоих мистер Коул показался Эдди красивым мужчиной, и в голове шестнадцатилетнего подростка шевельнулась мысль, что пожилой мужчина сорока пяти лет все еще может трогать сердца и мысли дам. И такой вот мужчина будет стоять среди встречающих в Ориент-Пойнте. Эдди не знал, что искать ему нужно было Марион.

Когда паром причалил к пристани, Эдди принялся разглядывать маловпечатляющую толпу со своей удобной позиции на верхней палубе, но не увидел никого, похожего на изящные фотографии на обложках.

«Он забыл обо мне!» – подумал Эдди.

По какой-то причине Эдди в голову полезли ехидные мысли о его отце – вот вам пожалуйста, экзетерская солидарность!

Но со своей верхней палубы Эдди увидел красивую женщину, которая махала кому-то на палубе; женщина была так прекрасна, что Эдди вовсе не хотелось видеть мужчину, которому она машет. (Он предположил, что она непременно машет мужчине.) Женщина была так великолепна, что Эдди не мог заставить себя искать Теда. Взгляд Эдди постоянно возвращался к

ней – она махала как сумасшедшая. (Уголком глаза Эдди увидел, как кто-то неудачно съехал с парома и застрял в береговом песке.)

Эдди был среди последних пассажиров, сходявших на пристань; в одной руке он тащил свою тяжелую дорожную сумку, а в другой более легкий, меньший по размеру чемодан. Он был потрясен, увидев, что женщина такой необыкновенной красоты стоит на том же месте, где он впервые и заметил ее, и что она по-прежнему продолжает махать. Она стояла точно по его курсу и вроде бы махала именно ему. Он испугался, как бы ему не столкнуться с ней. Она была уже так близко, что до нее вполне можно было дотянуться (он ощутил ее запах – пахло от нее замечательно), когда она вдруг протянула руку и взяла у него более легкий, меньшего размера чемодан.

– Привет, Эдди, – сказала она.

Если Эдди обмирал, когда его отец заговаривал с незнакомыми людьми, то теперь он понял, что такое настоящая смерть – дыхание у него перехватило, он не мог произнести ни слова.

– Я думала, ты меня никогда не увидишь, – сказала красивая женщина.

С этого момента он уже никогда не прекращал видеть ее – ни мысленным взором, ни когда закрывал глаза, пытаясь уснуть. Она всегда оставалась с ним.

– Миссис Коул? – сумел наконец прошептать он.

– Марион, – сказала она.

Он не мог произнести ее имени. Он боролся со своей тяжелой сумкой, следуя за ней к машине. Ну и что с того, что она носит бюстгальтер? Он все равно обратил внимание на ее груди. На ней был облегающий свитер с длинными рукавами, а потому понять, бреет ли она под мышками, было невозможно. Но какое это имело значение? Кусты волос в подмышках миссис Хейвлок, когда-то целиком владевшие его вниманием (не говоря уже о ее пляшущих грудях), вмиг стали делом далекого прошлого; теперь он чувствовал разве что тупое смущение при одной только мысли о том, что существо столь ординарное, как миссис Хейвлок, могло вызывать у него хоть каплю желания.

Когда они добрались до машины («мерседес-бенц» цвета пыльных томатов), Марион протянула ему ключи.

– Ты ведь водишь машину, да? – спросила она. Немота Эдди еще не прошла. – Я знаю мальчишек твоего возраста – вас ведь хлебом не корми, дай порулить.

– Да, мадам, – ответил он.

– Марион, – повторила она.

– Я ждал мистера Коула, – объяснил он.

– Теда, – сказала Марион.

Нет, в Экзетере играли совсем по другим правилам. В академии (а по аналогии и в его семействе, потому что он и в самом деле вырос именно в атмосфере академии) ко всем без исключения обращались «сэр» и «мадам», там все подряд были мистер и миссис. Здесь же ему предлагали Теда и Марион – он оказался в ином мире.

Когда он сел на водительское сиденье, оказалось, что расстояние до тормозной педали и педали сцепления словно выставлено точно для него – он с Марион был одного роста. Радость от этого открытия, однако, была немедленно сведена на нет тем, что он ощутил необыкновенной силы эрекцию, его восставшая плоть, скрыть которую было невозможно, бугром, торчащим из паха, уперлась в рулевое колесо. И тут мимо медленно проехал грузовик с клемами – водитель, конечно же, тоже заметил Марион.

– Неплохая работенка, если тебе удастся ее заполучить, малыш, – сказал ему водитель грузовика с клемами.

Эдди повернул ключ зажигания, и мотор откликнулся ровным урчанием. Эдди украдкой бросил взгляд на Марион и увидел, что она оценивает его на какой-то необычный для него манер – такой же необычный, как и эта машина.

– Я не знаю, куда ехать, – признался он ей.

– Езжай прямо, – сказала мальчишке Марион. – Я все время буду показывать тебе, как и куда...

Мастурбационная машина

В первый месяц того лета Рут и секретарь писателя редко видели друг друга. Они не встречались на кухне дома Коулов главным образом потому, что Эдди там не ел. И хотя четырехлетняя девочка и секретарь писателя спали в одном доме, делали они это в разное время, а спальни их располагались далеко друг от друга. По утрам Рут уже успевала позавтракать с отцом или матерью, пока Эдди еще спал. К тому времени, когда Эдди просыпался, уже приходила первая из трех нянек девочки, и Марион отвозила Рут с нянькой на берег. Если для пляжа погода была неподходящая, Рут с нянькой играли в детской или в гостиной этого большого дома, которой практически никто не пользовался.

Тот факт, что дом был огромен, сразу же делал его экзотическим для Эдди О'Хары; поначалу он рос в небольшой преподавательской квартирке экзетерского студенческого общежития, а позднее – в отдельном преподавательском доме, размерами немногим больше квартиры. Но то, что Тед и Марион разъехались (что они больше никогда не спали в одном доме), было для него куда непонятней (и давало больше почвы для размышлений), чем размер дома Теда и Марион. То, что ее родители разъехались, и для Рут было новой таинственной переменной – четырехлетняя девочка приспосабливалась к странностям новой ситуации с не меньшим трудом, чем Эдди.

Независимо от того, *что* это разделение означало для Рут и Эдди в будущем, первый месяц этого лета был наполнен главным образом неразберихой. В те ночи, когда Тед оставался в арендуемом им доме, Эдди должен был заезжать за ним утром на машине; Тед любил возвращаться в свою мастерскую не позже десяти утра, а потому у Эдди оставалось время заехать по пути в Центральный магазин Сагапонака и на почту. Эдди брал письма, кофе и сдобные булочки для них обоих. Если в арендуемом доме оставалась Марион, Эдди все равно заезжал на почту, но завтрак брал только для себя – Тед уже успевал поесть с Рут. А Марион могла сама водить машину. Если Эдди не исполнял какие-то поручения (а исполнял он их довольно часто), то большую часть дня проводил в пустом арендуемом доме за работой.

Работа эта была не ахти какой трудной: ответы на письма поклонников, перепечатка на машинке различных написанных от руки редакций «Шума – словно кто-то старается не шуметь». Не меньше чем раз в неделю Тед добавлял новое предложение или уничтожал уже написанное; еще он добавлял или уничтожал запятые, заменял точки с запятой на тире, а потом возвращал точки с запятой. (На взгляд Эдди, Тед переживал кризис пунктуации.) В лучшем случае появлялся абсолютно новый абзац, кое-как накорябанный от руки – почерк у Теда был ужасный – и тут же небрежно отредактированный карандашом. В худшем случае тот же самый абзац на следующий вечер полностью изымался.

Эдди не вскрывал и не читал почту Теда, и большинство перепечатываемых им для Теда писем были ответами Теда детям. Что касается матерей, то им Тед отвечал сам. Эдди никогда не видел писем матерей Теду или ответы им Теда. (Когда Рут слышала, как ее отец печатает по ночам – только по ночам! – по большей части он не работал над очередной детской книгой, а писал ответ какой-нибудь молодой матери.)

Договоренности между парами, имеющие целью соблюсти приличия, когда развод неотвратимо приближается, нередко достигают вершин изощренности, если провозглашаемый приоритет состоит в защите интересов ребенка. Пусть четырехлетняя Рут и видела, как ее мать охаживает сзади шестнадцатилетний мальчишка, ее родители никогда в гневе или злобе не повышали друг на друга голос, и ни мать, ни отец никогда ничего особо плохого не говорили Рут друг о друге. В этом смысле Тед и Марион были в высшей степени добропорядочными. И

ничего, что их договоренности по поводу второго, съемного дома были такими же хлипкими, как и само это обиталище. Рут все равно никогда не пришлось в этом доме жить.

На жаргоне гемптоновских торговцев недвижимостью 1958 года это была так называемая собачья будка – маленький дом с одной спальней над гаражом под две машины, собранный на скорую руку и обставленный дешевой мебелью. Расположен он был на Бридж-лейн в Бридж-гемптоне не далее чем в двух милях от дома Коулов на Парсонадж-лейн в Сагапонаке, и ночью его было вполне достаточно, чтобы Тед и Марион спали вдалеке друг от друга. А днем там работал секретарь писателя.

Кухня собачьей будки никогда не использовалась для приготовления еды; кухонный стол – столовая в доме отсутствовала – был завален письмами, ждущими ответа, или незаконченными письмами. Днем это был стол Эдди, а Тед занимал место за пишущей машинкой, когда ночевал в этом доме. На кухне имелась всякого рода выпивка, кофе и чай... больше ничего. В гостиной, которая была фактически продолжением кухни, были телевизор и диван, на котором Тед периодически вырубался, смотря трансляции бейсбола; телевизор он включал, если только была трансляция бейсбола или бокса. Марион, если ее мучила бессонница, смотрела ночные фильмы.

В стенном шкафу спальни не было ничего лишнего, только одежда Теда и Марион на какой-нибудь чрезвычайный случай. В спальне никогда не было совсем темно; в этой комнате имелось мансардное окно без шторы, которое нередко протекало. Марион (чтобы загорodиться от света и уменьшить протечку) накидывала на это окно полотенце, но если в доме ночевал Тед, то он полотенце снимал. Без мансардного окна он не знал бы, когда ему вставать; настенных часов здесь не было, а Тед нередко ложился спать, не зная, куда сунул свои наручные.

Та же горничная, которая убирала в доме Коулов, убирала и в собачьей будке, но тут она только проходила по дому с пылесосом и меняла белье. Возможно, потому, что собачья будка находилась на расстоянии действия нюхательных рецепторов от моста, на котором краболовы ловили крабов (обычно используя свежую курятину в качестве наживки), в односпальном домике постоянно царил запах птицы и рассола. А поскольку владелец дома пользовался гаражом на две машины, Тед, Марион и Эдди – все жаловались на непреходящий запах моторного масла и бензина, висящий в воздухе.

Если что и улучшало обстановку хотя бы немного, то это несколько фотографий Томаса и Тимоти, привезенных Марион. Она забрала эти фото из гостевой спальни, в которую поселился Эдди, и из соседней гостевой ванной, которой теперь тоже пользовался Эдди. (Эдди не мог предугадать, что небольшое количество пустующих гвоздиков на голых стенах было предвестником куда большего числа гвоздиков, которые обнажатся в близком будущем. Как не мог он предсказать, что долгие, долгие годы его будет преследовать образ гораздо более темных обоев, где висели снятые потом фотографии мертвых мальчиков.)

Несколько фотографий Томаса и Тимоти все еще оставались в гостевой спальне Эдди, который часто разглядывал их. На одной из них была и Марион, и эту фотографию Эдди рассматривал чаще других. На фотографии, снятой солнечным утром в номере парижского отеля, Марион лежит на старомодной перине, вид у нее взъерошенный, сонный и счастливый. Рядом с ее головой на подушке босая детская ножка, видимая только по щиколотку – дальше вместе со штаниной пижамы нога исчезала под одеялом. Далеко на другой стороне кровати видна еще одна белая нога, судя по всему принадлежащая второму ребенку – не только из-за значительного расстояния между двумя босыми ногами, но и потому, что пижама на второй другая.

Эдди не было известно, что снята эта фотография в Париже, в восхитительном в прошлом отеле «Дю Ки-Вольтер», где останавливались Коулы, когда Тед приезжал поспособствовать продвижению на рынок французского перевода «Мыши за стеной». И все же Эдди почувствовал какую-то иностранную атмосферу, возможно европейскую, – в кровати, в мебели. Эдди также пришел к выводу, что босые ноги принадлежали Томасу и Тимоти, а снимал Тед.

Видны были обнаженные плечи Марион – с одними штрипками ее сорочки (или ночной рубашки?), – одна из ее обнаженных рук. Судя по едва видимой подмышке, Марион тщательно выбривала эти места. На этой фотографии Марион была, вероятно, лет на двенадцать моложе, чем теперь, до тридцати ей еще оставалось года четыре, хотя Эдди казалось, что она ничуть не изменилась. (Вот только счастье ушло.) Может быть, дело было в косых солнечных лучах на подушке кровати, но волосы на фотографии у нее казались светлее.

Как и все другие фотографии Томаса и Тимоти, эта была увеличена до размера восемь на десять с дорогим глянцевым покрытием и помещена в рамочку со стеклом. Эдди снимал эту фотографию со стены и ставил ее на стул рядом со своей кроватью так, чтобы, мастурбируя, видеть лицо Марион. А чтобы усилить иллюзию, будто ее улыбка предназначена ему, Эдди нужно было только выкинуть из головы детские ножки. Проще всего было эти ножки укрыть, а для этого хватало двух клочков бумаги, которые он налеплял на стекло.

Это занятие превратилось у него в еженощный ритуал, но вот как-то раз, едва он успел приступить к своим сладострастным упражнениям, как раздался стук в дверь, на которой не было замка, а потом голос Теда:

– Эдди, ты не спишь? Я вижу у тебя свет. Можно нам войти?

Эдди, вполне понятно, вскочил как ошпаренный. Он натянул на себя все еще влажные и отвратительно холодные трусики, которые сушились на подлокотнике кресла у кровати, и устремился с фотографией в ванную, где неровно водворил ее на соответствующий гвоздик в стене.

– Заходите! – крикнул он, открывая дверь, и только тут вспомнил о двух клочках бумаги, оставшихся на стекле фотографии и скрывающих ноги Томаса и Тимоти. К тому же дверь в ванную он оставил открытой, и сделать что-либо теперь было уже поздно – Тед с Рут на руках стоял в дверях гостевой спальни.

– Рут приснился сон, – сказал ее отец. – Правда, Рути?

– Да, – ответила девочка. – Плохой сон.

– Она хотела убедиться, что одна из фотографий все еще здесь. Я знаю, что мамочка Рут эту фотографию не уносила в другой дом, – объяснил Тед.

– Вот как, – сказал Эдди – ему казалось, что девочка видит его насквозь.

– У каждой из этих фотографий есть своя история, – сказал Тед, глядя на Эдди. – И Рут знает все эти истории, правда, Рути?

– Да, – снова сказала девочка. – Вот она! – воскликнула Рут, указывая на фотографию, висящую над ночным столиком у помятой кровати Эдди.

Кресло, которое было подтянуто вплотную к кровати в известных целях, стояло не на своем месте, и Теду с Рут на руках пришлось неловко обойти его, чтобы получше рассмотреть фотографию.

На фотографии Тимоти, ободравший коленку, сидит в просторной кухне на столе. Томас демонстрирует медицинский интерес к царапине брата – он стоит рядом с Тимоти, держа бинт в одной руке и пластырь в другой, изображая доктора, лечащего окровавленную коленку. Тимоти в то время был, видимо, на год старше, чем Рут сейчас. Томасу, вероятно, было семь.

– У него кровь на коленке, но он поправится? – спросила Рут у отца.

– Он поправится. Ему только нужно забинтовать коленку, – сказал Тед девочке.

– И без всяких швов и иголок? – спросила Рут.

– Без всяких. Только забинтовать.

– Он только чуть-чуть сломался, но он не умрет, правда? – спросила Рут.

– Правда, – ответил Тед.

– Пока не умрет, – добавила четырехлетняя девочка.

– Да, Рути.

– Тут крови совсем немножко, – заметила Рут.

– Рут сегодня порезалась, – объяснил Тед. Он показал Эдди пластырь, наклеенный на стопу девочки. – Она наступила на ракушку на пляже. А потом ей приснился сон...

Рут, удовлетворенная историей про ободранную коленку и фотографией, теперь смотрела через плечо отца – ее внимание привлекло что-то в ванной.

– А где ножки? – спросила девочка.

– Какие ножки, Рути?

Эдди пришел в движение – встал между Тедом и дверью в ванную.

– Что ты сделал? – спросила Рут у Эдди. – Что случилось с ножками?

– Рути, ты это о чем? – спросил Тед.

Он был пьян, но, даже и пьяный, Тед довольно уверенно держался на ногах.

Рут показала пальцем на Эдди.

– Ножки! – сердито сказала она.

– Рути, води себя вежливо! – сказал ей Тед.

– Разве показывать пальцем невежливо? – спросила девочка.

– Ты знаешь, что это невежливо, – ответил ее отец. – Извини, что мы побеспокоили тебя, Эдди. У нас есть такая традиция – показывать Рут фотографии, когда она хочет их увидеть. Но мы не хотели мешать тебе... она в последнее время мало их видела.

– Ты можешь приходить смотреть на фотографии когда угодно, – сказал Эдди девочке, которая продолжала сердито смотреть на него.

Они были в коридоре перед дверью в спальню Эдди, когда Тед сказал:

– Рути, скажи Эдди: «Спокойной ночи».

– Где ножки? – повторила свой вопрос Эдди девочка. Она по-прежнему видела его насквозь. – Что ты с ними сделал?

Они пошли по коридору, и отец говорил Рут:

– Ты меня удивляешь, Рути. Ты ведь всегда была вежливой девочкой.

– Я и сейчас вежливая, – сердито сказала Рут.

– Так.

Что еще говорил Тед дочке, Эдди не услышал. Естественно, как только они ушли, Эдди стремглав помчался в ванную и отлепил бумажки от ног мертвых мальчиков и влажной салфеткой стер со стекла следы скотча.

Первый месяц этого лета Эдди О'Хара был настоящей мастурбационной машиной, но он больше никогда не снимал фотографию Марион со стены ванной и никогда больше и не помышлял о том, чтобы спрятать ноги Томаса и Тимоти. Вместо этого он мастурбировал почти каждое утро в собачьей будке, где, как ему представлялось, никто не сможет его прервать или застать за этим занятием.

По утрам, после того как здесь спала Марион, Эдди с наслаждением вдыхал ее запах, задерживавшийся на подушках неприбранной постели. В другие утра прикосновения и запаха какого-нибудь предмета ее одежды было достаточно, чтобы он возбудился. В стенном шкафу Марион держала что-то вроде ночной рубашки, там же был ящик с ее бюстгалтерами и трусиками. Эдди не оставлял надежды, что когда-нибудь она оставит в шкафу свой розовый кашемировый джемпер – тот, который был на ней, когда он впервые увидел ее; она часто снилась ему в этом джемпере. Но в дешевом доме над гаражом на две машины не было вентиляторов, и душный теплый воздух застаивался в этих комнатах. Если в доме Коулов в Сагапонаке обычно было прохладно и чувствовалось движение воздуха даже в самые теплые дни, то в съемном доме в Бриджемптоне было тесно и жарко. И надежды Эдди на то, что Марион в этом доме когда-либо понадобится ее розовый кашемировый джемпер, были невелики.

Если не считать поездок в Монтаук и обратно за дурно пахнущими кальмаровыми чернилами, бесхлопотный рабочий день Эдди в качестве секретаря длился от девяти до пяти, за

что Тед Коул платил ему пятьдесят долларов в неделю. Эдди брал у Теда еще и на заправку машины, водить которую доставляло ему куда меньше удовольствия, чем «мерседес» Марион. Тедов «шевроле» 57-го года был черно-белым, что, видимо, отражало узкие интересы художника-графика.

По вечерам около пяти или шести Эдди нередко отправлялся на пляж искупаться или побегать, что он делал нечасто и без особого энтузиазма. Иногда на пляже ловили рыбу со спиннингами; рыболовы гонялись по берегу на своих машинах, преследуя косяки рыбы. Миноги, выгоняемые на берег более крупными рыбами, бились на влажном примятом песке – еще одна причина, по которой Эдди бегал здесь без всякого удовольствия.

Каждый вечер Эдди с разрешения Теда ездил в Ист-Гемптон или Саутгемптон посмотреть кино или просто съесть гамбургер. За кино (и за все, что он ел) Эдди платил из того жалованья, что получал от Теда, и тем не менее ему удавалось каждую неделю откладывать по двадцать долларов. Как-то вечером в кинотеатре Саутгемптона он увидел Марион.

Она была одна и в своем розовом кашемировом джемпере. В этот раз ночевать в собачьей будке должен был Тед, а значит, вероятность того, что кашемировый джемпер окажется в стенном шкафу тесного дома над двумя гаражами, была чрезвычайно мала. И все же, увидев Марион в одиночестве, Эдди после этого пытался найти ее машину в Саутгемптоне и Ист-Гемптоне. И хотя раз или два ее машина попадалась ему на глаза, в кино Марион он больше ни разу не видел.

Она выезжала из дома почти каждый вечер. Она редко ела с Рут и никогда не готовила для себя. Эдди решил, что если Марион ездит куда-то есть, то предпочитает рестораны подороже тех, которые обычно выбирает он. И еще он знал, что если начнет искать ее в дорогих ресторанах, то его пятидесяти долларов в неделю надолго не хватит.

Что же до того, как проводил вечера Тед, то ясно было лишь, что на машине он никуда не выезжает. У него в съемном доме был велосипед, но Эдди ни разу не видел, чтобы Тед садился на него. Как-то раз, когда Марион не было, в доме Коулов зазвонил телефон, и на звонок ответила ночная няня; звонил бармен из бара и ресторана в Бриджгемптоне, где (по словам бармена) почти каждый вечер ел и выпивал мистер Коул. В этот вечер мистер Коул, отъезжая на своем велосипеде, выглядел как-то особенно неуверенно. Бармен звонил, чтобы выразить надежду, что мистер Коул благополучно добрался до дома.

Эдди поехал в Бриджгемптон и последовал маршрутом, которым, по его представлению, Тед должен был добираться до арендуемого дома. И он сразу же обнаружил Теда – тот крутил педали на Оушн-роуд, а потом – когда фары Эдди осветили его – свернул с дороги на обочину. Эдди остановился и спросил, не нужно ли его подвезти. Теду оставалось проехать меньше полумили.

– Я катаюсь! – сказал Тед, делая ему отмашку рукой.

А однажды утром, после того как Тед провел ночь в собачьей будке, от подушки пахло другой женщиной, и запах был гораздо сильнее, чем запах Марион.

«Значит, у него другая женщина!» – подумал Эдди, который еще не знал схемы, которой пользовался Тед с молодыми матерями. (Текущая хорошенькая молодая мать приходила позировать по утрам три раза в неделю, сначала с ребенком – маленьким мальчиком, но потом одна.)

Объясняя Эдди свое разделение с Марион, Тед сказал только: ему, мол, жаль, что секретарская работа Эдди совпала со «столь грустным периодом в столь долгом браке». Хотя это заявление и подразумевало, что грустные времена могут пройти, но чем больше парнишка понимал, какое расстояние разделяет Тед и Марион, тем больше утверждался в мнении, что их брак кончился. И потом, Тед заявил только, что их брак был «долгим»; он никогда не говорил, что брак был удачным или счастливым.

И тем не менее даже по многочисленным фотографиям Томаса и Тимоти Эдди видел – хорошие и счастливые времена все же бывали и когда-то Коулы были друзьями. В доме были фотографии званных обедов с другими семьями, пар с детьми; фотографии Томаса и Тимоти на днях рождения с другими детьми. Хотя Тед и Марион редко появлялись на фотографиях – там везде были главными персонажами Томас и Тимоти (пусть и представленные подчас только своими ногами), – имелось достаточно свидетельств того, что Тед и Марион когда-то были счастливы, хотя, может, и не обязательно счастливы друг с другом. Даже если их брак никогда не был счастливым, у Теда и Марион было немало хороших дней с их мальчиками.

Эдди О'Хара не мог вспомнить в своей жизни столько счастливых событий, сколько было изображено на этих фотографиях. «Но что случилось с друзьями Теда и Марион?» – спрашивал себя Эдди. Исключая няnek и натурщиц (или натурщицы), он никого в доме не видел.

Если (как это уже поняла четырехлетняя Рут Коул) Томас и Тимоти обитали в другом мире, то для Эдди они *явились* из иного мира. Они были любимы прежде.

Всеmu, чему училась Рут, училась она у своих няnek; няньки по большей части не произвели на Эдди никакого впечатления. Первая была местной девушкой, со своим парнем, похожим на головореза, тоже местным (по крайней мере, так показалось Эдди с его экзонианской перспективы). Парень был спасателем на водной станции и обладал иммунитетом к скуке, каким должны обладать все спасатели. Этот головорез каждое утро привозил няньку и, если Эдди оказывался поблизости, сверлил его злобным взглядом. Эта была та самая нянька, которая регулярно водила Рут на пляж, где загорал спасатель.

В первый месяц того лета Марион, которая обычно возила няньку и Рут на пляж, а позднее забирала их, только раз или два попросила Эдди подменить ее. Нянька с ним не разговаривала, а Рут – к стыду Эдди – спросила его (снова): «Где ножки?»

В тот день нянькой была девица из колледжа на своей машине. Звали девицу Алис, и она была слишком надменная, чтобы разговаривать с Эдди, ну разве что снизошла, чтобы сказать: она, мол, знала как-то одного выпускника Экзетера. Естественно, он закончил академию до того, как Эдди туда поступил, а Алис знала только его имя – то ли Чики, то ли Чаки.

– Возможно, прозвище, – глуповато предположил Эдди.

Алис вздохнула и сочувственно посмотрела на него. Эдди опасался, что унаследовал от своего отца склонность говорить банальности и что его скоро тоже нарекут какой-нибудь кличкой вроде Мятного и это имя пристанет к нему на всю оставшуюся жизнь.

У няньки из колледжа была еще и летняя работа в одном из ресторанов в Гемптонах, но Эдди туда никогда не заходил. Она была хорошенькой, а потому Эдди не мог смотреть на нее, не испытывая чувства стыда.

Вечерней нянькой была замужняя женщина, чей муж работал в дневное время. Иногда она приводила с собой двух своих детишек – они были старше Рут, но уважительно играли с ее бесчисленными игрушками, главным образом куклами и кукольными домиками, которыми пренебрегала четырехлетняя девочка. У нее в детской был профессиональный мольберт с отпиленными ножками. А у единственной куклы, к которой Рут испытывала приязнь, не хватало головы.

Из трех няnek только вечерняя относилась к Эдди по-дружески, но Эдди по вечерам уходил из дома, а если оставался, то предпочитал проводить время в своей комнате. Его гостевая спальня и ванная располагались в дальнем конце длинного коридора второго этажа; когда Эдди хотел написать письмо матери или отцу или записать что-то в своем блокноте, он почти всегда оставался там в одиночестве. В своих письмах домой он не сообщал, что Тед и Марион расстались на лето, и, уж конечно, помалкивал о том, что регулярно мастурбирует, прижимаясь к обтягивающим одеждам Марион и вдыхая ее запах.

Тем утром, когда Марион застала Эдди за этим занятием, он очень детально воспроизвел на своей кровати некое подобие Марион. Там была персикового цвета блуза из тонкого полупрозрачного материала (вполне подходящая для душной собачьей будки) и такого же цвета бюстгальтер. Блузу Эдди оставил незастегнутой. Бюстгальтер, который он положил там, где приблизительно можно было предполагать увидеть бюстгальтер, был частично открыт, но в основном был спрятан под блузой, словно Марион начала раздеваться и вдруг остановилась. Это создавало впечатление страсти или, по крайней мере, спешки. Ее трусики (тоже персикового цвета) были положены как полагается (талией кверху, пахом книзу) и на правильном расстоянии от бюстгальтера, то есть как если бы трусики и бюстгальтер и в самом деле были на Марион. Эдди, который разделся донага (и который всегда мастурбировал, ухватив свой пенис левой рукой и натирая его о правое бедро), прижался лицом к раскрытой блузе и бюстгальтеру. Правой рукой он поглаживал невообразимо шелковистую гладь трусиков Марион.

Марион понадобились доли секунды, чтобы понять, что Эдди раздел донага, и догадаться, чем он занимается (и с помощью каких визуальных и тактильных вспомогательных средств!), но, когда Эдди увидел ее, она не входила в его спальню и не выходила из нее – она стояла в оцепенении, словно собственный призрак, и Эдди, вероятно, надеялся, что так оно и есть на самом деле; кроме того, Эдди увидел не саму Марион, а только ее отражение в зеркале спальни. Марион, которая могла видеть Эдди в зеркале и во плоти, получила уникальную возможность видеть, как одновременно мастурбирует и тот и другой.

Она исчезла в дверях так же быстро, как и появилась. Эдди, который еще не дошел до эякуляции, знал не только, что она видела его, но и что за долю секунды она узнала о нем все.

– Извини, Эдди, – говорила Марион с кухни, пока он пытался спрятать ее одежду. – Я должна была постучать.

Он оделся, но так и не осмеливался выйти из спальни. Он надеялся услышать ее шаги вниз по лестнице к гаражу (или – что было бы еще более милосердно – услышать звук отъезжающего «мерседеса»), но она, напротив, дожидалась его. А поскольку он не слышал, как она поднималась по лестнице из гаража, то понимал, что, видимо, стонал, мастурбируя.

– Эдди, это моя вина, – говорила Марион. – Я не сержусь. Я просто смущена.

– Я тоже, – промямлил он из спальни.

– Ничего страшного – это естественно, – сказала Марион. – Я знаю мальчиков твоего возраста...

Голос ее задрожал и замер.

Когда он наконец отважился выйти к ней, она сидела на диване.

– Подойди – по крайней мере, посмотри на меня! – сказала она, но он стоял как вкопанный, опустив голову и глядя себе на ноги. – Эдди, это забавно. Давай скажем, что это забавно, и забудем эту историю.

– Это забавно, – сказал он несчастным голосом.

– Эдди, подойди сюда! – приказала она.

Он медленно поплелся к ней, так и не поднимая глаз.

– Сядь! – потребовала она, но самое большее, что он смог себе позволить, это сесть в дальнем от нее конце дивана и замереть там. – Нет, здесь. – Она похлопала по дивану рядом с собой. Он не мог пошевелиться. – Эдди, Эдди... я знаю мальчиков твоего возраста, – снова повторила она. – Мальчики твоего возраста обычно занимаются *этим*, правда? Можешь ты себе представить, что не делаешь этого? – спросила она его.

– Нет, – прошептал Эдди.

Он начал плакать – не мог сдержаться.

– Нет, не плачь! – сказала Марион.

Сама она теперь никогда не плакала – она уже выплакала все свои слезы.

Марион села рядом с ним, и он почувствовал, как подался под ней диван, и вдруг понял, что притулился к ней. Он продолжал плакать, а она все говорила и говорила.

– Эдди, послушай меня, пожалуйста, – сказала она. – Я думала, что это какая-нибудь из женщин Теда надевает мою одежду – иногда моя одежда была помятой или висела на других вешалках. Но оказалось, что это ты, и ты был такой милый – ты даже складывал мое белье! Или пытался. Я никогда не складываю своих трусиков или бюстгалтеров. Я знала, что уж Тед-то к ним точно не прикасается, – добавила она под рыдания Эдди. – Ах, Эдди, я польщена. Правда, польщена! Это далеко не лучшее лето в моей жизни, и я счастлива, что кто-то думает обо мне.

Она замолчала; внезапно она вдруг показалась более смущенной, чем он. Наконец она скороговоркой произнесла:

– Нет, я не считаю, что ты думал обо мне. Боже мой, какая это с моей стороны самоуверенность, да? Может, все дело в моей одежде. И все же я польщена, даже если дело только в моей одежде. У тебя, наверное, много девушек, о которых ты можешь думать...

– Я думаю о вас! – выпалил Эдди. – Только о вас.

– Тогда не смущайся, – сказала Марион. – Ты сделал старушку счастливой!

– Никакая вы не старушка! – воскликнул он.

– Ты делаешь меня все счастливее и счастливее, Эдди. – Она быстро встала, словно собираясь уходить. Наконец он набрался смелости взглянуть на нее, а она, увидев выражение его лица, сказала: – Эдди, ты только поосторожнее со своими чувствами ко мне. Я хочу сказать, ты береги себя, – предупредила она его.

– Я люблю вас, – храбро сказал он.

Она села рядом с ним с таким волнением, как если бы он снова начал плакать.

– Не надо меня любить, Эдди, – сказала она, и голос ее прозвучал куда мрачнее, чем он ожидал. – Думай лучше о моей одежде. От нее тебе не будет вреда. – Наклонившись к нему поближе (но в этом движении не было ни малейшей кокетливости), она сказала: – Скажи мне, есть что-то такое, что тебе особенно нравится... я говорю о моей одежде. – Он недоуменно уставился на нее с таким выражением, что ей пришлось повторить: – Лучше думай о моей одежде, Эдди.

– То, что было на вас, когда я впервые вас увидел, – сказал ей Эдди.

– Боже мой! – воскликнула Марион. – Я не помню...

– Розовый джемпер... на пуговицах спереди.

– Ах это старье! – вскрикнула Марион.

Она готова была расхохотаться; Эдди вдруг понял, что никогда не видел, как она смеется. Она целиком завладела им. Если он поначалу не мог поднять на нее взгляд, то теперь – не мог отвести от нее глаз.

– Если тебе нравится *это*, – сказала Марион, – то, может, у меня будет для тебя сюрприз!

Она снова встала – снова быстро. И теперь он готов был расплакаться оттого, что видел: она собирается уйти. У двери на лестницу она перешла на более жесткий тон.

– Давай только без этой безысходности, Эдди... ладно?

– Я люблю вас, – повторил он.

– Не надо меня любить, – напомнила она ему.

Не стоит и говорить, что день этот прошел у него как в тумане.

Вскоре после этого разговора он как-то раз вернулся вечером из кинотеатра в Саутгемптоне и, войдя к себе в спальню, увидел, что там стоит Марион. Вечерняя нянька уже ушла домой. Сердце у него сразу же упало, потому что он понял: она здесь вовсе не для того, чтобы соблазнить его. Она начала говорить о некоторых фотографиях в его гостевой спальне и ванной; она просит прощения, что вторгается к нему, но (уважая его личную жизнь) она позволяет себе заходить в его комнату и смотреть на фотографии, только когда его нет дома. Чаще всего

она вспоминает об одной из этих фотографий (она не пожелала ему сказать о какой), а потому задержалась чуть дольше, чем хотела поначалу.

Когда она ушла, пожелав ему спокойной ночи, он почувствовал себя самым несчастным из людей. Но перед тем как лечь, он обнаружил, что она сложила его валявшуюся повсюду одежду. А еще она сняла полотенце с его обычного места на шторке в ванной и аккуратно повесила на его надлежащее место – на вешалку для полотенец. И наконец, хотя это должно было броситься в глаза в первую очередь, Эдди заметил, что его кровать аккуратно застелена. Он никогда не стелил ее, да и Марион (по крайней мере в съемном доме) не стелила свою!

Два дня спустя он, вывалив почту на кухонный стол в собачьей будке, начал готовить кофе. Пока кофе закипал, он зашел в спальню. Поначалу ему показалось, что это Марион лежит на кровати, но это был всего лишь ее кашемировый джемпер. (Всего лишь!) Пуговицы она оставила незастегнутыми, а длинные рукава были закинута наверх, словно невидимая женщина в джемпере закинула за свою невидимую голову невидимые руки. Там, где пуговицы были расстегнуты, виднелся бюстгальтер; все это выглядело куда более соблазнительно, чем любые комбинации с ее одеждой, которые придумывал сам Эдди. Бюстгальтер был белым, как и трусики, положенные Марион именно туда, куда бы их положил и сам Эдди.

Входите сюда...

Текущая молодая мать Теда Коула тем летом 58-го года, миссис Вон, была маленькой, темноволосой, пугливой и диковатой на вид. В течение месяца Эдди видел ее только на рисунках Теда. А видел Эдди только те рисунки, для которых миссис Вон позировала со своим сыном – тоже маленьким, темноволосым и диковатым; Эдди не мог отделаться от мысли, что эта парочка может броситься на человека и покусать его. Миниатюрные черты миссис Вон и ее слишком молодежная, почти мужская стрижка не могли скрыть какую-то ожесточенность или, по крайней мере, неуравновешенность в характере молодой матери. И, глядя на ее сына, можно было подумать, что он сейчас плюнет или зашипит, как загнанный в угол кот; впрочем, может, он просто не любил позировать.

Когда миссис Вон впервые пришла позировать одна, ее движения (из машины в дом Коулов, а потом назад в машину) были в особенности пугливы. Они кидала взгляд в направлении любого звука, во все стороны, как животное, готовящееся отразить нападение. Миссис Вон опасалась, конечно же, появления Марион, но Эдди, который еще не знал, что миссис Вон позировала для ню (не говоря уже о том, что он – и Марион – на подушке в собачьей будке почуял сильный запах именно миссис Вон), ошибочно пришел к выводу, что эта маленькая женщина – психованная до безумия.

И потом, Эдди был слишком поглощен мыслями о Марион, чтобы обращать внимание на миссис Вон. Хотя Марион больше не повторяла своей проказы с созданием собственной копии, столь соблазнительно разлегшейся на кровати в съемном доме, собственные манипуляции Эдди с розовым кашемировым джемпером Марион, сохранявшим ее восхитительный запах, продолжали удовлетворять шестнадцатилетнего мальчишку в такой степени, какой он не знал никогда прежде.

Эдди О'Хара обитал в некоем мастурбационном раю. Ему бы следовало остаться там, ему бы следовало навсегда там поселиться. Потому что Эдди скоро предстояло узнать: если он и будет обладать Марион в большей степени, чем теперь, это не насытит его до конца. Но Марион держала их отношения в своей власти; если что-то еще и должно было случиться между ними, то это могло случиться только по ее инициативе.

Началось этого с того, что она пригласила его на обед. Она сама вела машину, не спросив, хочет ли он сесть за руль. К собственному удивлению, Эдди был благодарен отцу за то, что тот заставил его взять с собой рубашки, галстуки и пиджак «на все случаи жизни». Но, увидев его в этом традиционном экзетерском одеянии, Марион сказала ему, что он может оставить что-нибудь одно – галстук или пиджак, а в обоих нет необходимости. Ресторан в Ист-Гемптоне был не такой модный, как он предполагал, и он сразу же понял, что официанты видели здесь Марион далеко не в первый раз – они приносили ей вино (выпила она три бокала), даже не спрашивая.

Она оказалась разговорчивей, чем Эдди знал о ней прежде.

– Я уже была беременна Томасом, когда вышла замуж за Теда, а мне тогда было всего на год больше, чем тебе, – сказала она ему. (Она постоянно возвращалась к этой разнице в их возрасте.) – Когда ты родился, мне было двадцать три. Когда тебе будет столько, сколько мне теперь, мне будет шестьдесят два, – продолжала она. Два раза она упомянула о своем подарке ему – о розовом кашемировом джемпере. – Ну, как тебе понравился мой маленький сюрприз?

– Очень, – заикаясь, произнес он.

Быстро переменив тему, она сказала ему, что Тед на самом деле не бросил учебу в Гарварде. Его попросили взять академический отпуск...

– ...в связи с «неисполнением обязанностей студента» – так, кажется, это называлось, – сказала Марион.

На каждом заднике в сведениях об авторе сообщалось, что Тед Коул бросил учебу в Гарварде. Эта полуправда явно доставляла ему удовольствие: из нее вытекало, что он был достаточно умен, чтобы поступить в Гарвард, и достаточно оригинален, чтобы бросить его.

– На самом же деле он просто был ленив, – сказала Марион. – Он никогда не хотел трудиться в поте лица. – Помолчав несколько секунд, она спросила у Эдди: – Ну а как тебе твоя работа?

– Особо-то мне делать нечего, – признался он ей.

– Да и как могло быть иначе, – ответила она. – Тед нанял тебя просто потому, что ему нужен водитель.

Марион еще не закончила школу, когда встретила Теда и забеременела. Но пока Томас и Тимоти подрастали, она заочно сдала школьные экзамены, а потом в различных студенческих городках Новой Англии слушала курсы лекций и за десять лет сумела получить образование, защитившись в университете Нью-Гемпшира в 1952 году – всего за год до гибели ее сыновей. Слушала она в основном курсы по истории и литературе, и в гораздо большем объеме, чем требовалось для получения степени; ее нежелание слушать другие обязательные курсы затянуло получение ею диплома.

– И вообще, – сказала она Эдди, – я хотела получить степень только потому, что ее не было у Теда.

Томас и Тимоти гордились тем, что она получила образование.

– Я как раз собиралась стать настоящей писательницей, и тут они погибли, – призналась Марион. – На этом с моим писательством было покончено.

– Вы были писательницей? – спросил ее Эдди. – И почему вы бросили писать?

Она сказала ему, что не может обращаться к своим сокровенным мыслям, когда все ее мысли только о гибели ее мальчиков; она не могла позволить своему воображению разыграться, потому что эта игра непременно приводила ее к Томасу и Тимоти.

– А ведь раньше быть наедине со своими мыслями мне нравилось, – сказала она Эдди.

Марион сомневалась, что Теду когда-либо нравилось быть наедине с его мыслями. Поэтому-то все его рассказы такие короткие, и пишет он для детей. Вот почему он рисует, рисует и рисует.

Эдди, не отдавая себе отчета в том, как ему надоели гамбургеры, теперь налегал на еду.

– Даже любовь не может испортить аппетит шестнадцатилетнему мальчишке! – заметила Марион.

Эдди вспыхнул. Он ведь не должен был говорить, как любит ее. Ведь ей это не нравилось.

А потом она сказала ему, что, разложив для него на кровати свой кашемировый джемпер, а в особенности выбрав сопутствующие трусики и бюстгальтер и разместив их в надлежащих местах («для воображаемых действий», по ее формулировке), она вдруг поняла, что это ее первый созидательный порыв после смерти сыновей; еще это был первый и единственный момент того, что она назвала «чистым дурачеством». Предполагаемая чистота такого дурачества сомнительна, но Эдди никогда бы не осмелился оспаривать искренность намерений Марион; чувства его страдали: то, что для него было любовью, для нее – всего лишь дурачеством. Даже в шестнадцать лет ему бы следовало лучше прислушаться к ее предостережениям.

Когда Марион познакомилась с Тедом, тот представился ей как бывший студент Гарварда, недавно бросивший учебу и пишущий роман. На самом деле он уже четыре года как не учился в Гарварде; он брал уроки в Бостонской школе искусств. Но рисовать он всегда умел – он называл себя «самоучкой». (Уроки в школе искусств были для него не так интересны, как натурщицы.)

В первый год их брака Тед поступил работать к литографу и сразу же возненавидел эту работу. «Тед возненавидел бы любую работу», – сказала Марион Эдди. Тед возненавидел и

литографию, не интересовала его и гравировка. («Я не медник и не каменщик какой-нибудь», – сказал он Марион.)

Тед Коул опубликовал свой первый роман в 1937 году, когда Томасу был год, а Тимоти еще не было и в помине; рецензии на роман были преимущественно благоприятные, а продажи – выше средних для первого романа. Тед и Марион решили родить второго ребенка. Рецензии на второй (в 39-м году, через год после рождения Тимоти) не были ни благоприятными, ни многочисленными; продажи второй книги были в два раза ниже, чем первой. Третий роман Теда, изданный в 1941 году («за год до твоего рождения», – напомнила Марион Теду), практически не рецензировался, а те рецензии, что все же появились, были исключительно неблагоприятными. Продажи были такими мизерными, что издатель даже отказался сообщить Теду, сколько экземпляров продано. А потом, в 42-м году (когда Томасу и Тимоти было соответственно шесть и четыре), из печати вышла «Мышь за стеной». Война задержала издание ее переводов на множество других языков, но еще и до их появления стало ясно, что Теду Коулу больше не надо ненавидеть какую-нибудь работу или снова писать роман.

– Скажи мне, – спросила Марион у Эдди, – у тебя не бегут мурашки по коже, когда ты думаешь, что «Мышь за стеной» и ты родились в один год?

– Бегут, – признался Эдди.

Но почему так много университетских городков? (Коулы исколесили всю Новую Англию.)

Сексуальное поведение Теда не отличалось разборчивостью. Тед убедил Марион, что университетский городок – лучшее место для воспитания детей. Уровень местных школ обычно был довольно высок; спортивные и культурные мероприятия в студенческих городках оказывали положительное влияние на жизнь сообщества. А кроме того, Марион может продолжить образование. И с точки зрения общения, сказал ей Тед, лучше преподавательских семей не найти; поначалу Марион не понимала, сколько молодых матерей может быть среди преподавательских жен.

Тед, чуравшийся всего, что напоминало настоящую преподавательскую работу (к тому же для этого у него и диплома-то не было), тем не менее каждый семестр читал лекции, посвященные рисованию и детской литературе; нередко эти лекции спонсировались совместно факультетом изящных искусств и факультетом английского языка и литературы. Тед всегда начинал с того, что изготавливать книги для детей – это, по его скромному мнению, никакое не искусство; он предпочитал называть это ремеслом.

Но истинным «ремеслом» Теда, как заметила Марион, был систематический поиск и соблазнение самых хороших и самых несчастных молодых матерей среди преподавательских жен; иногда его жертвой становились и студентки, но более легкой добычей были молодые матери.

– Поэтому-то мы все время и переезжали с места на место, – сказала Марион Эдди.

В университетских городках жилья внаем было предостаточно; всегда кто-нибудь из преподавателей находился в академическом отпуске, и разводы случались довольно часто. Единственным обиталищем Коулов, в котором они задержались сколь-нибудь долго, был фермерский дом в Нью-Гемпшире, куда они приезжали на школьные каникулы, на лыжные прогулки и на месяц или два каждое лето. Этот дом, сколько Марион себя помнила, принадлежал ее семье.

Когда мальчики погибли, Тед предложил уехать из Новой Англии и от всего, о чем Новая Англия им напоминала. Восточная оконечность Лонг-Айленда была главным образом летним пристанищем и местом проведения уик-эндов для ньюйоркцев. Для Марион будет легче не общаться с ее старыми друзьями.

– Новое место, новый ребенок, новая жизнь, – сказала она Эдди. – По крайней мере, так это задумывалось.

Марион вовсе не удивилась тому, что любовные приключения Теда не прекратились, после того как они уехали из Новой Англии с ее университетскими городками. Напротив, его измены даже стали чаще чисто количественно, хотя страсти в них не прибавилось. Для Теда любовные приключения были своего рода наркотиком, на котором он «сидел». Марион заключила сама с собой пари: что в конечном счете окажется сильнее в Тед – его потребность соблазнять или его приверженность к алкоголю. (Марион делала ставку на то, что Тед с большей легкостью откажется от алкоголя.)

У Теда, рассказала Марион Эдди, соблазнение всегда длилось дольше, чем сам любовный роман. Начиналось все с обычных портретов – обычно матери с ее ребенком. Потом мать позировала одна. Потом она позировала для ню. И в самих ню обнаруживалась предопределенная динамика: невинность, застенчивость, развращение, позор.

– Миссис Вон! – оборвал ее Эдди, вспомнив пугливые повадки маленькой женщины.

– Миссис Вон в настоящее время проходит стадию развращения, – сказала ему Марион.

Миссис Вон оставляла на подушке непропорционально сильный по сравнению со своими размерами запах, подумал Эдди, а еще он подумал, что с его стороны было бы неблагоразумно, даже нескромно сообщать Марион его мнение о запахе миссис Вон.

– И вы все эти годы оставались с ним, – с отчаянием в голосе сказал шестнадцатилетний парень. – Почему же вы не ушли от него?

– Мальчики любили его, – объяснила Марион. – А я любила мальчиков. Я собиралась уйти от Теда, когда мальчики закончат школу и разлетятся из дома. Ну, или после того, как они закончат колледж, – добавила она с меньшей уверенностью.

Эдди заел свое сочувствие к Марион огромным количеством десерта.

– Вот что мне нравится в мальчишках, – сказала ему Марион. – Что бы ни происходило, вы о своем деле не забываете, правда?

Марион позволила Эдди вести машину до дома. Она опустила окно со своей стороны и закрыла глаза. Вечерний воздух трепал ее волосы.

– Приятно, когда тебя везут, – сказала она Эдди. – Тед слишком много пил, и за рулем всегда сидела я. Ну... почти всегда, – прошептала она.

Потом Марион повернулась к Эдди спиной; наверно, она плакала, потому что плечи ее сотрясались, но она не производила ни звука. Когда они добрались до дома в Сагапонаке, слезов слез на ее лице не было – либо их высушил ветер, либо она вообще не плакала. Эдди знал только – с того дня, когда он плакал перед ней, – что Марион не одобряет слез.

Отпустив вечернюю няньку, Марион налила себе четвертый бокал вина из открытой бутылки, стоявшей в холодильнике. Убедившись, что Рут спит, она позвала за собой Эдди, шепча, что, хотя теперь это и трудно представить, когда-то она была хорошей матерью.

– Но я не буду плохой матерью для Рут, – все так же шепотом добавила она. – Лучше уж я не буду для нее никакой матерью, чем плохой.

В то время Эдди еще не понимал, что Марион уже знает: она уйдет и оставит дочь Теду. (В то время Марион не понимала, что Тед нанял Эдди не только потому, что ему нужен был водитель.)

Свет ночника из хозяйской спальни так слабо ощущался в комнате Рут, что разглядеть при нем несколько находившихся здесь фотографий Томаса и Тимоти было затруднительно, но Марион настояла, чтобы Эдди посмотрел на них. Она хотела рассказать ему, что делали мальчики на каждой из фотографий и почему именно их выбрала она для комнаты Рут. Потом Марион повела Эдди в хозяйскую ванную, где свет ночника позволял рассмотреть фотографии немного лучше. Здесь преобладала тема воды, которую Марион сочла подходящей для ванной: каникулы в Тортоле, еще одни – в Ангуиле, летний пикник на пруду в Нью-Гемпшире, Томас и Тимоти, когда они оба еще были младше Рут, вдвоем сидят в ванночке, Тим плачет, а Том – нет.

– Ему мыло попало в глазки, – прошептала Марион.

Экскурсия продолжилась в хозяйской спальне, где Эдди никогда еще не был, не видел он и этих фотографий, каждая из которых напоминала Марион соответствующую историю. И так они прошли через весь дом. Они переходили от фотографии к фотографии, и Эдди в конечном счете понял, почему Рут так взволновали клочки бумаги, прикрывавшие голые ножки Томаса и Тимоти. Рут совершала эту экскурсию в прошлое много-много раз, возможно, на руках то отца, то матери, и для четырехлетней девочки истории этих фотографий были, несомненно, не менее важны, чем сами фотографии. А может быть, даже еще важнее. Рут росла не только в обстановке постоянного, давящего на душу присутствия мертвых братьев, но и с мыслью о беспрецедентной важности их отсутствия.

Фотографии были историями – и наоборот. Изменить фотографию, как это сделал Эдди, было столь же невыносимо, как и изменить прошлое. Прошлое, в котором жили мертвые братья Рут, было закрыто для пересмотра. Эдди поклялся себе, что постарается заглазить свою вину перед девочкой, заверить ее, что все, известное ей о мертвых братьях, нерушимо. В нестабильном мире с неопределенным будущим ребенок мог опереться хотя бы на это. Или и это было иллюзией?

Экскурсия, на которую ушло больше часа, закончилась в спальне Эдди, а точнее, в гостевой ванной, которой пользовался Эдди. В том, что последней фотографией, вызвавшей поток воспоминаний Марион, была фотография самой Марион на кровати с голыми ребяческими ножками, было нечто фатальное.

– Я люблю эту вашу фотографию, – выдавил из себя Эдди, не отваживаясь добавить, что он мастурбировал, глядя на голые плечи и на ее улыбку.

Марион, словно в первый раз, рассматривала себя на фотографии, снятой двенадцать лет назад.

– Мне тогда было двадцать семь, – сказала она, и канувшее в Лету прошлое, грусть затуманили ее взор.

Это был ее пятый бокал вина за вечер, и она выпила его, опрокинув себе в рот, потом протянула пустой бокал Эдди. Он оставался стоять на месте в гостевой ванной еще минут пятнадцать после ухода Марион.

На следующее утро в собачьей будке Эдди начал было раскладывать на кровати розовый кашемировый джемпер (вместе с сиреневым лифчиком и трусиками в тон ему), когда услышал преувеличенно громкие шаги Марион по лестнице, ведущей наверх из гаража. Марион не постучала в дверь – она ударила в нее. Она не хотела застать Эдди врасплох на этот раз. Он еще не успел раздеться, чтобы возлечь рядом с ее одеяниями. И тем не менее он на мгновение впал в нерешительность, а потом уже убирать одежду Марион не было времени. Еще он успел подумать, что выбрал далеко не лучшую цветовую гамму – розовое с сиреневым, правда, с другой стороны, привлекали его вовсе не цвета. Он сходил с ума от кружев на резинке трусиков и от кружев на шикарном вырезе лифчика. Эдди все еще оставался в нерешительности, когда Марион шархнула по двери во второй раз; он оставил ее одежду на кровати и поспешил к двери.

– Надеюсь, я тебе не помешала, – с улыбкой сказала она.

На ней были солнцезащитные очки, которые она сняла, войдя в комнату. Эдди впервые отметил ее возраст – о нем говорили морщинки в уголках глаз. Вчера вечером Марион выпила слишком много вина – пять бокалов было для нее многовато.

К удивлению Эдди, она прямо подошла к ближайшей из фотографий Томаса и Тимоти, перевезенных ею в съемный дом, продолжая объяснять Эдди свой выбор. Эти фотографии Томаса и Тимоти были сняты, когда им было приблизительно столько же, сколько теперь Эдди, то есть незадолго до их гибели. Марион объяснила, что, по ее мнению, фотографии ровесников

могли показаться Эдди близкими, даже располагающими, в обстоятельствах, которые могли быть для него и *неблизкими* и *нерасполагающими*. Она волновалась за Эдди задолго до его приезда, потому что знала: дел у него практически никаких не будет. И она сомневалась, что здесь ему будет легко, так как понимала – у шестнадцатилетнего парня тут не будет никакой компании.

– Если не считать молоденьких нянек Рут, с кем ты тут мог встречаться? – спросила Марион. – Ну, если только ты не был каким-нибудь особенным хватом. Томас был хват. А вот Тимоти – нет, он был более сосредоточен в себе, как ты. Хотя внешне ты похож больше на Томаса, – сказала Марион Эдди, – я думаю, что в душе ты – скорее Тимоти.

– Вот как, – сказал Эдди. Для него было открытием, что она думала о нем до его приезда.

Экскурсия по фотографиям продолжалась. Ощущение возникало такое, будто этот съемный дом был тайной комнатой, примыкающей к коридору гостевого крыла, а Эдди и Марион не завершили свой совместный вчерашний вечер – они просто перешли в другую комнату с другими фотографиями. Они миновали кухню собачьей будки – Марион все это время не закрывала рта – и вернулись в спальню, где она продолжила говорить, указывая на фотографию Томаса и Тимоти, висевшую в изголовье кровати.

Эдди без труда узнал одну из самых ярких примет экзетерского кампуса. Мертвые мальчики стояли в дверях главного здания академии, где под заостренным фронтоном над дверью была надпись на латинском. На белом мраморе, выделявшемся на фоне кирпичного фасада и лиственнно-зеленой двойной двери, были начертаны призывные и требовательные слова:

HVC VENITE PVERI
VT VIRI SITIS

(«U» в словах HVC, PUERI и UT было начертано, конечно, как «V».) На фото в пиджаках и галстуках были Томас и Тимоти в год своей гибели. Томас в семнадцать почти производил впечатление взрослого мужчины, а Тимоти в пятнадцать выглядел еще мальчишкой. И стояли они на фоне этой самой двери, которую чаще других выбирали для фотографий тщеславные родители бесчисленных экзонианцев. Сколько несформированных тел и душ вошли в эту дверь под строгим и грозным приглашением:

ВХОДИТЕ СЮДА, МАЛЬЧИКИ,
И СТАНОВИТЕСЬ МУЖЧИНАМИ

Но этого не случилось с Томасом и Тимоти. Эдди обратил внимание, что Марион сделала паузу в своем рассказе – взгляд ее упал на розовый кашемировый джемпер, который (вместе с ее сиреневым лифчиком и соответствующего цвета трусиками) лежал на кровати.

– Боже милостивый – только не розовое с сиреневым!

– Я не думал о цветах, – признался Эдди. – Мне нравится... кружево.

Но его глаза выдали его – он смотрел на вырез лифчика, но не мог вспомнить, как это называется. В голову ему пришло слово «расщелина», но он знал, что это называется иначе.

– Декольте? – подсказала ему Марион.

– Да, – прошептал Эдди.

Марион подняла глаза на фотографию своих счастливых сыновей над изголовьем кровати: *Hvc venite pueri* (входите сюда, мальчики) *ut viri sitis* (и становитесь мужчинами). Эдди с трудом продирался через свой второй год курса латинского: впереди его ждал еще третий год мертвого языка. Он вспомнил о старой экзетерской шутке относительно более точного перевода этой надписи («Приходите сюда, мальчики, и становитесь мучениками».) Но он чувствовал, что Марион не в настроении для шуток.

Глядя на фотографии своих мальчиков на пороге зрелости, Марион сказала Эдди:

– Я даже не знаю, успели ли они познать женщину.

Эдди, вспомнив фотографию Томаса в ежегоднике 53-го года, на которой тот целует девушку, подумал, что Томас, может быть, и успел.

– Может, Томас и успел, – добавила Марион. – Он пользовался успехом. Но Тимоти – точно нет. Он был такой застенчивый...

Голос ее стих, а взгляд переместился на кровать с цветовой гаммой сиреневого и розового – ее джемпер и нижнее белье, привлечшие ее внимание чуть раньше.

– А ты знал женщину? – спросила вдруг Марион.

– Нет, конечно нет, – сказал ей Эдди.

Она улыбнулась ему – сочувственно. Он попытался не выглядеть таким несчастным и ненужным, каким, по его убеждению, он казался со стороны.

– Если бы умерла девушка, не узнав мужчины, то я бы могла сказать, что ей повезло, – продолжила Марион. – Но что касается мальчика... боже мой, ведь этого хотят все мальчики, правда? Мальчики и мужчины, – добавила она. – Разве это не так? Разве вы все не хотите этого?

– Да, – сказал безнадежным голосом шестнадцатилетний мальчишка.

Марион подошла к кровати и взяла сиреневый лифчик с невероятным декольте, потом она подняла и трусики, а розовый кашемировый джемпер откинула в угол кровати.

– Ну это уж было бы слишком, – сказала она Эдди. – Надеюсь, ты меня простишь за то, что на мне не будет этого джемпера.

Он стоял, замерев, сердце его бешено колотилось – она расстегивала пуговицы на своей блузке.

– Закрой глаза, Эдди, – пришлось сказать ей.

Он закрыл глаза, боясь, что может свалиться в обморок. Он чувствовал, что его качает из стороны в сторону, но на ногах он все же удержался.

– Ну, – услышал он ее голос.

Она лежала на кровати в лифчике и трусиках.

– Теперь моя очередь закрывать глаза, – сказала Марион.

Эдди неловко разделся – он не мог заставить себя оторвать от нее глаз. Когда она почувствовала, как он улегся рядом с ней, она повернулась к нему лицом, они заглянули друг другу в глаза, и Эдди почувствовал боль в сердце. В улыбке Марион было больше материнского чувства, чем того, что он питал надежду увидеть.

Эдди не осмелился прикоснуться к ней, но, когда он начал прикасаться к себе, она ухватила его за затылок и прижала лицо Эдди к своей груди, на которую он даже не отваживался взглянуть. Другой рукой она взяла его правую ладонь и твердо поместила ее туда, куда – как она видела – он клал ее в первый раз: к ней на пах. Эдди почувствовал, как сперма извергается в его левую ладонь – так быстро и с такой силой, что он отпрянул от Марион.

– Мамочка моя, ну и скорость.

Марион была так удивлена, что отпрянула от него тоже.

Эдди, держа член в ладони, бросился в ванную, пока не успел испачкать все вокруг.

Когда, вымывшись, он вернулся в спальню, Марион лежала в той же позе на боку, почти не изменив положения. Он медлил, не зная, ложиться ли ему к ней. Но она, не шелохнувшись, сказала:

– Иди сюда.

Они лежали друг подле друга, глядя друг другу в глаза, чуть ли не целую вечность, по крайней мере он не хотел, чтобы это когда-либо кончилось. Всю свою жизнь он вспоминал эти мгновения как пример истинной любви, которой не нужно ничего больше, которая не ждет, что кто-то другой превзойдет ее, – просто это было ощущение полного упоения. Никто не заслужил того, чтобы чувствовать что-нибудь лучше этого.

– Ты знаешь латынь? – прошептала ему Марион.

– Да, – прошептал он в ответ.

Она подняла взгляд туда, где над изголовьем кровати висела фотография того важного пути, которым не прошли ее сыновья.

– Скажи это мне по-латыни, – прошептала Марион.

– *Huc venite pueri...* – так же шепотом начал Эдди.

– Входите сюда, мальчики, – шепотом перевела Марион.

– *...ut viri sitis*, – закончил Эдди; он почувствовал, как Марион снова взяла его руку и положила себе на пах трусиков.

– ...и становитесь мужчинами, – прошептала Марион. Она опять взяла его за затылок и прижала его лицо к своей груди. – Ведь ты так еще и не познал женщину, верно? – спросила она. – Я имею в виду – по-настоящему.

Эдди закрыл глаза, прижавшись к ее груди.

– По-настоящему – нет, – согласился он. Он волновался, потому что ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он жалуется. – Но я очень-очень счастлив, – добавил он. – Это такое упоение.

– Сейчас ты узнаешь упоение, – сказала ему Марион.

Пешка

Что касается сексуальных возможностей, то шестнадцатилетний мальчишка способен на огромное число подходов за промежуток времени, который Марион, в ее тридцать девять лет, представлялся поразительно коротким.

«Мамочка моя! – восклицала Марион, отмечая почти постоянную и непреходящую эрекцию Эдди. – Тебе что, совсем не нужно времени, чтобы... восстановиться?»

Но Эдди и в самом деле не требовалось времени на восстановление; как это ни парадоксально, но он легко удовлетворялся и в то же время был ненасытен.

Марион была счастливее, чем помнила себя за все время после гибели сыновей. С одной стороны, она уставала и от этого спала лучше, чем когда-либо за последние годы. А с другой – она не предпринимала ничего, чтобы скрыть свою новую жизнь от Теда.

– Он не осмелится предъявлять претензии мне, – сказала она Эдди, который тем не менее побаивался, как бы Тед не предъявил претензий ему.

Бедняга Эдди, вполне понятно, нервничал из-за того, что их захватывающий роман протекал у всех на глазах. Например, когда после их любовных соединений на простынях в спальне собачьей будки оставались следы, именно Эдди брал на себя труд прачки, чтобы Тед не увидел предательских пятен. А Марион всегда говорила: «Пусть его думает: это я или миссис Вон». (Когда оставались пятна на простынях в хозяйской спальне дома Коулов, где причиной их появления миссис Вон быть не могла, Марион говорила: «Пусть его думает» – и это было более уместно.)

Что касается миссис Вон, то знала она или нет о совместных трудах в поте лица Марион и Эдди, но ее отношения с Тедом, не такие откровенные, теперь переменились. Если прежде миссис Вон пугливо и неуверенно пробегала по дорожке (и когда она шла позировать, и когда возвращалась после сеанса), то теперь она направлялась на каждый очередной сеанс со смирением собаки, готовой к побоям. А покидая мастерскую Теда, миссис Вон плелась к машине такой понурой походкой, что было ясно – ее гордость претерпела невосполнимый ущерб; впечатление было такое, будто именно сегодняшнее позирование погубило ее. Миссис Вон явно уже прошла, по терминологии Марион, период развращения и теперь находилась в завершающем периоде – позора.

Обычно Тед посещал миссис Вон в ее летнем доме в Саутгемптоне не больше трех раз в неделю. Но теперь эти посещения стали еще более редкими и заметно более короткими. Эдди знал это, потому что всегда исполнял обязанности водителя Теда. Мистер Вон проводил рабочую неделю в Нью-Йорке. Наилучшим временем для Теда были летние месяцы в Гемптонах, когда множество молодых матерей жили здесь без мужей, не баловавших их ежедневными приездами. Тед постоянным обитательницам предпочитал молодых матерей из Манхэттена, ведь приезжающие на лето оставались на Лонг-Айленде достаточно долго. «Идеальный отрезок времени для одного Тедова романа», – сообщила Марион Эдди.

Услышав эти слова, Эдди начал нервничать; он не мог не спрашивать себя, каков, по мнению Марион, «идеальный отрезок времени» для ее романа с ним. Спросить он не отваживался.

Что касается Теда, то молодые матери, из которых он мог выбирать по окончании летнего сезона, были куда более навязчивыми; не все из них сохраняли с ним дружеские отношения (после окончания романа), как, например, жена владельца рыбного магазина в Монтауке, которую Эдди знал только как верного поставщика кальмаровых чернил Теду. По окончании лета миссис Вон вернется на Манхэттен, а там на расстоянии в сотню миль от Теда пусть себе сходит с ума. По иронии судьбы, летний дом миссис Вон в Саутгемптоне находился на Джин-лейн – с учетом склонности Теда к джину и шикарным районам это было забавно.

– Мне никогда не приходится ждать, – заметил Эдди. – Когда приходит время его забирать, он уже обычно идет вдоль дороги. Но я не могу понять, куда она девает своего мальчишку.

– Может, увозит на уроки тенниса, – сказала Марион.

Но в последнее время свидания Теда с миссис Вон не продолжались больше часа.

– А на прошлой неделе я его туда возил всего один раз, – доложил Эдди Марион.

– Он с ней почти закончил, – сказала Марион. – Я это всегда знаю.

Эдди полагал, что миссис Вон живет в особняке, хотя дом Вонов, находившийся на той стороне Джин-лейн, что ближе к океану, был скрыт высоким забором. Идеальные, размером с горошину камушки, которыми была отсыпана скрытая, исчезающая вдали подъездная дорожка, были всегда свежеразровнены. Тед неизменно просил Эдди высадить его из машины у начала подъездной дорожки. Может быть, Теду нравилось ходить на свои свидания по этим дорогим камушкам.

По сравнению с Тедом Эдди О'Хара был в любовных делах неоперившийся птенец – начинающий, делающий первые шаги, но он быстро узнал, что наслаждение предвкушения почти не уступает лихорадке любви; что же касается Теда, то Марион подозревала, что для него предвкушение гораздо сильнее. Когда Эдди был в объятиях Марион, шестнадцатилетнему мальчишке такое допущение казалось невероятным.

Они каждое утро занимались любовью в собачьей будке; когда там ночевала Марион, Эдди оставался с ней до самого рассвета. Им было все равно, что и «шевроле», и «мерседес» припаркованы перед домом на виду у всех. Им было все равно, что их каждый вечер видят в одном и том же ресторане в Ист-Гемптоне. Марион с нескрываемым удовольствием смотрела, как ест Эдди. Еще ей доставляло удовольствие прикасаться к его лицу, или рукам, или волосам – хоть бы и на виду у всех. Она даже ходила с ним к парикмахеру, чтобы сказать, сколько подстричь или где остановиться. Она стирала его вещи. В августе она начала покупать ему одежду.

Иногда случалось, что выражение лица Эдди во сне так щемяще напоминало ей Томаса или Тимоти, что Марион будила его и вела (сонного) к какой-нибудь конкретной фотографии, чтобы показать ему, каким он вдруг представился ей. Потому что кто может описать выражение, которое вызывает у нас воспоминание о тех, кого мы любили? Кто может предугадать, какой хмурый взгляд, улыбка или растрепавшиеся волосы незамедлительно пошлют узнаваемый сигнал из прошлого? Да кто может хотя бы оценить силу ассоциации, которая сильнее всего проявляется в мгновения любви или в воспоминаниях смерти?

Это происходило невольно: что бы Марион ни делала для Эдди, она вспоминала все, что делала для Томаса и Тимоти; и еще она становилась сосудом тех наслаждений, которых, как она это себе представляла, не получили ее погибшие сыновья. Пусть и на короткий миг, но Эдди О'Хара вернул к жизни ее мертвых мальчиков.

Хотя Марион было все равно, знает ли Тед о ее отношениях с Эдди, для нее оставалось загадкой, почему Тед ничего ей не говорит, хотя ему наверняка все было известно. Он, как и всегда, был приветлив с Эдди, к тому же в последнее время Тед проводил с ним больше времени.

Взяв с собой охапку плохо увязанных рисунков, Тед попросил Эдди свозить его в Нью-Йорк. Для поездки на сто миль они взяли «мерседес» Марион. Тед направил Эдди в свою художественную галерею, которая находилась то ли на Томпсон неподалеку от перекрестка с Брумом, то ли на Бруме неподалеку от перекрестка с Томпсоном – этого Эдди не мог вспомнить. Доставив рисунки, Тед пригласил Эдди пообедать в ресторане, куда как-то водил Томаса и Тимоти. Тед сказал, что мальчикам ресторан понравился. Эдди он тоже понравился. А вот неловкость он испытал на обратном пути в Сагапонак, когда Тед сказал – он благодарен Эдди за то, что тот стал таким хорошим другом для Марион. Она была так несчастна – замечательно, что она теперь снова улыбается.

– Он так и сказал? – спросила Марион у Эдди.

– Именно так, – доложил Эдди.

– Странно, – заметила Марион. – Я ждала, что он скажет что-нибудь ехидное.

Но Эдди не услышал в словах Теда никакого «ехидства». Правда, один раз Тед что-то сказал относительно физического состояния Эдди, но Эдди не понял, намекал ли этим Тед на то, что ему известно о ежедневных и еженощных упражнениях Эдди с Марион.

В своей мастерской рядом с телефоном Тед прикрепил список с полудюжиной имен и номеров – это были его регулярные напарники по сквошу, которые (как Марион сообщила Эдди) были единственными друзьями Теда мужского пола. Как-то днем, когда один из регулярных напарников Теда сообщил, что не сможет прийти, Тед попросил Эдди поиграть с ним. Эдди прежде говорил, что вдруг обнаружил у себя интерес к сквошу, но еще он признался Теду, что игрок он даже хуже, чем начинающий.

В сарае рядом с домом Коулов на чердаке над тем, что служило двухместным гаражом, по чертежам Теда был оборудован сквош-корт почти стандартного размера. Тед жаловался, что городской регламент не позволяет ему увеличить высоту крыши (поэтому потолок корта был чуть ниже стандартного), а одна из стен корта (из-за мансардных окон на выходящей к океану стороне сарая) была неправильной формы, и игровая площадь этой стены была заметно меньше противоположной. Такие особенности формы и размера давали Теду неоспоримое преимущество, когда он играл с непривычным человеком.

Вообще-то никакого городского регламента, запрещающего Теду поднять крышу, не существовало; но он сумел сэкономить изрядную сумму, и необычность корта, обустроенного по его собственным чертежам, радовала его. Среди местных игроков в сквош у Теда была репутация непобедимого, если игра шла в его необычном сарае, где летом было ужасающе жарко (при плохой вентиляции), а зимой, поскольку сарай не отапливался, невыносимо холодно, и мячик превращался в настоящий камень.

Перед их единственным матчем Тед предупредил Эдди о необычности корта, но Эдди до этого только раз играл в сквош, а потому корт в сарае был для него так же труден, как и любой другой. Тед заставил его побегать из угла в угол. Сам Тед занял место в центре площадки на позиции «Т»⁸, и ему ни разу не понадобилось сделать более чем полшага в сторону. Эдди, вспотевший и запыхавшийся, не набрал ни очка, а Тед даже не раскраснелся.

– Эдди, ты сегодня похож на мальчишку, который будет крепко спать ночью, – сказал ему Тед, когда они закончили пять геймов. – Но тебе, может, так или иначе нужно отоспаться.

Тед шлепнул Эдди по заднице ракеткой. Может, он «ехидствовал», а может, и нет, докладывал Эдди Марион, которая больше не знала, что ей думать о поведении мужа.

Более насущной проблемой для Марион была Рут. Летом 58-го года у четырехлетней девочки были более чем странные привычки в том, что касалось сна. Она могла проспать всю ночь и спала при этом так крепко, что пробуждалась в том же положении, в каком и заснула, и все так же идеально укрытая. Но следующую ночь она могла проворочаться всю напролет. Она могла улечься поперек нижней части своей двухъярусной кровати и засунуть ножки между прутьев решетки; тогда она просыпалась и звала на помощь. Хуже бывало, когда ее попавшие в решетку ножки вплетались в какой-нибудь ночной кошмар – Рут просыпалась, убежденная, что на нее напало чудовище, схватило своими страшными лапами и держит, не отпускает. В этом случае девочка не только звала на помощь, чтобы ее освободили из решетки, ее после этого нужно было нести в родительскую спальню, где она засыпала, рыдая на кровати с Марион или Тедом.

⁸ Место в центре корта, куда перемещается игрок после удара, чтобы иметь возможность принять удар соперника.

Когда Тед снял было решетку, Рут стала выпадать из кровати. Внизу лежал коврик, так что падения не причиняли ей вреда, но девочка, дезориентированная, как-то раз забрела из своей спальни в коридор. Но с решеткой или без нее, Рут преследовали кошмары. Короче говоря, у Эдди и Марион не могло быть ни малейшей уверенности в том, что их сексуальные упражнения не будут прерваны в самое неподходящее время. Девочка могла проснуться с криком или же молча появиться у кровати матери, отчего занятия любовью в хозяйской спальне для Эдди и Марион были сопряжены с известным риском, да и для Эдди, блаженствующего в объятиях Марион, рискованно было заснуть в этом положении. Но когда они занимались любовью в комнате Эдди, находившейся довольно далеко от спальни Рут, Марион беспокоилась, что не услышит крика или плача девочки или что Рут придет в родительскую спальню и испугается, не найдя там матери.

Поэтому, если они выбирали спальню Эдди, то им приходилось по очереди выходить в коридор и прислушиваться. А когда они лежали в кровати Марион, Эдди, заслышав звук ножек девочки, топающих по полу ванной, нырял с кровати вниз. Один раз он пролежал на полу с другой стороны кровати голым полчаса, пока Рут наконец не уснула рядом со своей матерью. И тогда Эдди на четвереньках выбрался из спальни. Перед тем как он открыл дверь в коридор и на цыпочках прокрался в свою комнату, Марион прошептала: «Спокойной ночи, Эдди». Рут, судя по всему, еще не успела уснуть, потому что (сонным голосом) повторила вслед за матерью: «Спокойной ночи, Эдди».

После этого стало очевидно, что когда-нибудь Эдди и Марион не услышат приближающихся к ним топающих ножек. Поэтому в ту ночь, когда Рут с полотенцем появилась в спальне матери (потому что девочка была убеждена, что ее мать – судя по производимым ею звукам – рвет), Марион не удивилась. А поскольку Эдди оседлал ее сзади, держа руками ее груди, Марион почти ничего не могла поделать. Но она все же смогла прекратить стонать.

Эдди же реагировал на внезапное появление Рут с удивительной акробатической ловкостью, хотя и нелепой. Он вышел из Марион так резко, что та ощутила пустоту и грусть, причем бедра ее все еще продолжали двигаться. Пролетев несколько метров, Эдди на краткое мгновение завис в воздухе; его неловкие старания сорвать колпак с ночника привели к тому, что сломанный ночник и сам он рухнули на ковер; лежа там, он обреченно пытался прикрыть свое срамное место открытым колпаком лампы – это показалось Марион забавным, пусть и на краткий миг.

Несмотря на крики дочери, Марион поняла, что этот эпизод травмирует Эдди надолго, чем Рут. Именно это убеждение и подсказало Марион те слова, что она сказала дочери с внешней беззаботностью: «Не кричи, детка. Это всего лишь мы с Эдди. Возвращайся в кровать».

К удивлению Эдди, девочка сделала то, что ей было сказано. Когда Эдди снова оказался в кровати рядом с Марион, та прошептала словно бы себе: «Ну, это было не так уж худо, а? На этот счет мы больше можем не беспокоиться». Но потом она повернулась на бок спиной к Эдди, и, хотя ее плечи чуть сотрясались, она не плакала, а если и плакала, то где-то внутри себя. Однако Марион не реагировала на прикосновения Эдди или на его ласки, и ему хватило ума оставить ее в покое.

Этот эпизод был первым, вызвавшим недвусмысленную реакцию Теда. С непробиваемым лицемерием Тед выбрал момент, когда Эдди вез его в Саутгемптон на свидание с миссис Вон.

– Я полагаю, это была ошибка Марион, – изрек Тед, – но наверняка вам обоим нужно было быть внимательнее, чтобы Рут не увидела вас вместе.

Эдди ничего на это не сказал.

– Я тебе не угрожаю, Эдди, – добавил Тед, – но я должен тебе сказать, что тебя могут вызвать для дачи показаний.

– Показаний? – переспросил мальчишка.

– В случае, если возникнет спор о том, кому оставить Рут – кто из нас больше подходит для роли родителя, – ответил Тед. – Я бы никогда не позволил ребенку увидеть меня с другой женщиной, тогда как Марион не предприняла ничего, чтобы не позволить Рут увидеть... то, что увидела девочка. И если бы тебя вызвали для дачи показаний относительно случившегося, то, я полагаю, ты не стал бы лгать – это в суде-то.

Но Эдди по-прежнему молчал.

– Насколько я понял, это была задняя позиция – только, пожалуйста, не думай, что у меня какая-то личная антипатия к этой или какой-либо другой позиции, – быстро добавил Тед, – но я полагаю, что ребенку собачья поза могла показаться особенно... анималистической.

Лишь на одну секунду Эдди допустил, что Марион сама рассказала об этом Теду, но потом Эдди с упавшим сердцем понял, что Тед разговаривал с Рут.

Марион решила, что Тед, видимо, постоянно, с самого начала расспрашивал Рут: не видела ли девочка вместе Эдди и маму? А если вместе, то *как* вместе? Внезапно все, что недопонимала Марион, стало ясно.

– Так вот почему он нанял тебя! – воскликнула она.

Он знал, что Марион возьмет Эдди в любовники, а Эдди не сможет противиться ей. Но хоть Тед и полагал, что знает Марион как облупленную, он знал ее недостаточно, чтобы понять – она никогда не будет сражаться с ним за право оставить себе Рут. Марион всегда знала, что девочка для нее потеряна. Она никогда не хотела Рут.

Теперь Марион была оскорблена тем, что Тед думал о ней недостаточно хорошо и не понимал: никогда не станет она утверждать (хотя бы и мимоходом в разговоре), что Рут будет лучше с матерью, чем со лживым, безответственным отцом. Даже Тед сможет лучше воспитать Рут, чем Марион; по крайней мере, так думала Марион.

– Я тебе скажу, что мы сделаем, Эдди, – сказала Марион мальчишке. – Ты можешь не беспокоиться. Никакие показания в суде тебе давать не придется, потому что никакого суда вообще не будет. Я знаю Теда гораздо лучше, чем Тед знает меня.

В течение трех дней, показавшихся ему бесконечными, они не могли заниматься любовью, потому что у Марион была инфекция и секс для нее стал болезненным. Тем не менее она лежала рядом с Эдди, прижимая его лицо к своим грудям, пока он мастурбировал до полного своего удовлетворения. Марион дразнила Эдди, спрашивая его, уж не нравится ли ему мастурбировать рядом с ней не меньше (а может, и больше), чем заниматься с ней любовью. Когда Эдди отверг эти инсинуации, Марион стала поддразнивать его иначе: она искренне сомневалась, что женщины в его будущей жизни будут так же понятливы в отношении его предпочтений, как она.

Эдди возразил: он не может себе представить, что его когда-нибудь будут интересовать другие женщины.

– Другие женщины будут интересоваться тобой, – сказала мальчишке Марион. – Они, возможно, не будут настолько уверены в себе, чтобы позволить тебе мастурбировать, они будут требовать, чтобы ты занимался с ними любовью. Я тебя предупреждаю об этом как друг. Девушки твоего возраста решат, что ты пренебрегаешь ими.

– Меня никогда не будут интересовать девушки моего возраста, – сказал Эдди О'Хара с тем страданием в голосе, к которому она уже прикипела душой.

И хотя Марион поддразнивала Эдди и на этот счет, на самом деле так оно и случится. Его никогда не будут интересовать женщины его возраста. (И при этом вовсе не факт, что Марион сыграла в его жизни негативную роль.)

– Ты просто должен мне верить, Эдди, – сказала она ему. – Ты не должен бояться Теда. Я знаю точно, что мы сделаем.

– Хорошо, – сказал Эдди.

Он лежал, прижавшись лицом к ее грудям, понимая, что этот период их отношений подходит к концу, потому что как мог он не подходить к концу? Меньше чем через месяц он вернется в Экзетер; даже шестнадцатилетний мальчишка не мог себе представить, каким образом в школе-интернате можно содержать тридцатидевятилетнюю любовницу.

– Тед считает, что ты его пешка, Эдди, – сказала Марион мальчику. – Но ты – моя пешка, а не Теда.

– Хорошо, – сказал Эдди, но Эдди О’Хара еще не осознавал степень, в какой он и в самом деле был пешкой в достигшей своей кульминации ссоре между мужем и женой, прожившими в браке двадцать два года.

Правый глаз Рут

Если Эдди и был пешкой, то он задавал слишком много вопросов. Когда Марион пришла в себя после инфекции настолько, что они снова могли заниматься любовью, Эдди спросил, какого рода «инфекция» у нее была.

– Инфекция мочевого пузыря, – сказала она ему.

Она все еще была для него больше матерью, чем думала; она пощадила его, не сообщив ему неприятное известие: инфекция была следствием его постоянных сексуальных домогательств.

Они только что закончили заниматься любовью в позиции, которая нравилась Марион более всего. Она любила сидеть на Эдди – «скакать» на нем, как говорила Марион, – потому что ей нравилось видеть его лицо. Дело было не только в том, что выражения, возникающие на лице Эдди, доставляли ей удовольствие, вызывая бесконечные ассоциации с Томасом и Тимоти. Дело было еще и в том, что Марион начала процесс прощания с мальчиком, который так задел какие-то глубинные ее струны, как она никогда и не думала.

Она, конечно, понимала, как сильно повлияла на него, и это беспокоило ее. Но, глядя на него и занимаясь с ним любовью (в особенности глядя на него во время занятий любовью), Марион думала о том, что ее сексуальная жизнь, которая разгорелась с такой страстью (хотя, к сожалению, всего на короткий миг), подходит к концу.

Она не сказала Эдди, что до него не знала других мужчин, кроме Теда. Не сказала она Эдди и о том, что после смерти сыновей секс с Тедом у нее был только один раз – и то целиком по инициативе Теда – и исключительно с одной целью для нее: забеременеть. (Она не хотела забеременеть, но была слишком подавлена и не могла сопротивляться.) А после рождения Рут у Марион вообще не возникало никаких сексуальных поползновений. И если в отношениях с Эдди ею поначалу руководила жалость к застенчивому мальчишке – в котором так многое напоминало ей ее сыновей, – то вскоре эти отношения стали для нее благодатным воздаянием. Но хотя Марион и была удивлена теми наслаждениями, которые доставлял ей Эдди, эта радость тем не менее не убедила ее изменить планы.

Она оставляла не только Теда и Рут. Прощаясь с Эдди О'Харой, она прощалась и со всякой сексуальной жизнью. Она прощалась с сексом в тридцать девять лет, когда секс впервые стал доставлять ей удовольствие!

Если рост у Марион и Эдди летом 58-го года был одинаковый, то Марион понимала, что по весу она превосходит Эдди, который был мучительно тощ. Находясь в верхней позиции, налегая на Эдди, Марион чувствовала, что вся ее масса и сила сосредоточиваются в ее бедрах; когда Эдди находился под ней, Марион иногда казалось, что это она входит в него. И в самом деле, движение ее бедер в этом случае было единственным движением, происходившим между ними, – у Эдди не хватало силы приподниматься под ней. Был один миг, когда Марион не только казалось, что она вошла в тело мальчика, она была абсолютно уверена, что парализовала его.

Когда по его замирающему дыханию она чувствовала, что он сейчас кончит, то ложилась на него всем телом и, ухватив за плечи, переворачивала его наверх, потому что ей было тяжело видеть выражение на его лице в тот момент, когда он кончал. В нем было что-то слишком похожее на предчувствие боли. Марион с трудом выносила постановления Эдди, а он постановлял каждый раз. Это был звук, напоминающий хныканье полусонного ребенка перед тем, как ему снова заснуть полностью. Только эти повторяющиеся мгновения и вызывали у Марион скоротечные сомнения во всем, что касалось ее отношений с Эдди. Когда мальчишка производил этот детский звук, у Марион возникало чувство вины.

Потом Эдди лежал на боку, уткнувшись лицом в груди Марион, а она перебирала пальцами его волосы. Даже в этот момент Марион не могла удержаться от критических суждений по поводу стрижки Эдди – она взяла себе на заметку сказать парикмахеру, чтобы он в следующий раз меньше снимал на затылке. Потом она пересмотрела свою заметку: лето подходило к концу, и «следующего раза» не предвиделось.

В этот момент Эдди и задал свой второй вопрос этого вечера.

– Расскажи мне об этой аварии, – сказал он. – Я хочу сказать, ты знаешь, как это случилось? В этом была чья-то вина?

За секунду до этого он чувствовал, как у его виска, прижатого к груди Марион, пульсирует ее сердце. Но теперь Эдди показалось, что сердце Марион остановилось. Когда он поднял голову и заглянул ей в глаза, она уже поворачивалась к нему спиной. На этот раз ее плечи не сотрясались вовсе, спина была напряжена, плечи широко раздвинуты. Он обошел кровать и встал на колени перед ней, заглянул в ее глаза – они были открыты, но не видели его; ее губы, которые во сне были припухлыми и чуть приоткрытыми, теперь сузились и закрылись.

– Извини, – прошептал Эдди. – Я больше никогда не буду у тебя спрашивать.

Но Марион осталась такой, какой была: ее лицо – маска, ее тело – камень.

– Мама! – позвала Рут, но Марион не услышала ее – она даже не мигнула. Эдди замер, ожидая, что сейчас по полу ванной зашлепают детские ножки, но девочка осталась в кровати. – Мама? – крикнула она теперь не так решительно. В ее голосе слышалась тревожная нотка.

Эдди, голый, на цыпочках подошел к ванной. Он намотал себе на талию ванное полотенце, сделав на сей раз выбор лучший, чем абажур. Потом, стараясь не издавать ни звука, Эдди начал отступать в направлении коридора.

– Эдди? – раздался голос девочки, перешедшей теперь на шепот.

– Да, – покорно ответил Эдди.

Он затянул на себе полотенце поосновательнее и босиком прошел через ванную в комнату Рут. Эдди подумал, что это новое состояние Марион, чуть ли не клиническое, напугает четырехлетнюю девочку еще больше.

Когда Эдди вошел в комнату, Рут неподвижно сидела на кровати.

– Где мама? – спросила его девочка.

– Она спит, – солгал Эдди.

– А-а, – сказала девочка. Она взглядом указала на полотенце на талии Эдди. – Ты принимал ванну.

– Да, – снова солгал он.

– А-а, – сказала Рут. – Но что же мне тогда снилось?

– Что тебе снилось? – с дурацким видом повторил Эдди. – Откуда же я знаю. Мне же твой сон не снился. Так что тебе снилось?

– Расскажи мне, – гнула свое девочка.

– Но это же твой сон, – сказал Эдди.

– А-а, – сказала Рут.

– Хочешь попить водички? – спросил Эдди.

– Хочу, – ответила Рут.

Она ждала, пока он пропускал воду, чтобы была холодная, потом он принес ей чашку. Возвращая ему чашку, она спросила:

– Где ножки?

– На фотографии, где и всегда, – ответил ей Эдди.

– Но что с ними случилось? – спросила Рут.

– Ничего с ними не случилось, – заверил ее Эдди. – Хочешь их увидеть?

– Да, – ответила девочка. Она протянула руки, ожидая, что он возьмет ее, и он поднял ее с кровати.

Вместе они пошли по неосвещенному коридору, ощущая бесчисленное разнообразие выражений на лицах мертвых мальчиков, чьи фотографии, к счастью, были скрыты полутьмой. В дальнем конце коридора лампа в комнате Эдди светила ярко, как маяк. Эдди занес Рут в ванную, где они молча посмотрели на фотографию Марион в отеле «Дю Ки-Вольтер».

Наконец Рут сказала:

– Это было рано утром. Мама только что проснулась. Томас и Тимоти заползли под одеяло. Папа сделал фотографию – во Франции.

– Да, в Париже, – сказал Эдди. (Марион сказала ему, что отель стоит на берегу Сены. Марион тогда в первый раз была в Париже, а мальчики – в единственный.)

Рут показала на большую из босых ног.

– Томас, – сказала она. Потом показала на меньшую и стала ждать, что скажет Эдди.

– Тимоти, – догадался Эдди.

– Верно, – сказала четырехлетняя девочка. – Но что ты тогда сделал с ножками?

– Я? Ничего, – солгал Эдди.

– Это было похоже на бумажки. Полоски бумажки, – сказала ему Рут.

Ее глаза принялись обшаривать ванную; она заставила Эдди поставить ее на пол и заглянула в корзинку для мусора. Но с того вечера, когда Эдди выкинул туда полоски, горничная много раз убирала комнату. Наконец Рут протянула руки Эдди, и он снова поднял ее.

– Надеюсь, больше этого не случится, – сказала четырехлетняя девочка.

– Может, это и не случилось, может, тебе это приснилось, – сказал ей Эдди.

– Нет, – ответила Рут. – Это была бумажка. Две полоски.

Она не сводила сердитого взгляда с фотографии, словно говоря ей – ну, изменись! Много лет спустя Эдди О'Хара ничуть не удивился, узнав, что как писательница Рут Коул следует реалистической традиции.

Наконец он спросил у девочки:

– Ну, ты не хочешь вернуться в кровать?

– Хочу, – сказала девочка, – только возьми фотографию.

Они пошли по темному коридору, который теперь казался еще темнее, – слабый свет ночника из хозяйской спальни лишь едва пробивался сюда через открытую дверь комнаты Рут. Эдди нес девочку, прижимая ее к груди. Оказалось, что нести ее в одной руке тяжело – в другой он держал фотографию.

Он положил Рут в кровать, а фотографию Марион в Париже поставил на комод лицевой стороной к Рут, но девочка сказала, что фотография слишком далеко и ей плохо видно. В конечном счете Эдди поставил фотографию на скамеечку в изголовье кровати. Это устроило Рут, и она скоро заснула.

Прежде чем вернуться в свою комнату, Эдди еще раз посмотрел на Марион. Веки ее были опущены, губы полуоткрыты во сне, жуткая напряженность ее тела спала. Простыня закрывала только ее бедра, грудь оставалась обнаженной. Ночь была теплой, но Эдди все же прикрыл ее груди простыней. Укрытая, она выглядела не такой покинутой и несчастной.

Эдди так устал, что лег на свою кровать и заснул с полотенцем на поясе. Утром он проснулся, слыша зовущий его голос Марион – она выкрикивала его имя, – и еще до него доносился истерический плач Рут. Он побежал по коридору (все еще в полотенце) и увидел Марион и Рут над раковиной, закапанной кровью. Кровь была повсюду – на пижаме девочки, на ее лице и ее волосах. Источником крови был единственный глубокий порез на указательном пальце Рут. Подушечка пальца была порезана до самой кости. Порез был идеально ровным и очень тонким.

– Она сказала, что порезалась о стекло, – сказала Марион Эдди, – но в порезе нет никакого стекла. О какое стекло, детка? – спросила Марион у Рут.

– Фотка, фотка! – кричала девочка.

Пытаясь спрятать фотографию под кровать, Рут, вероятно, стукнула ею об угол кровати или скамеечки, и стекло рамки треснуло; сама фотография не была повреждена, хотя на ее поверхности были капельки крови.

– Что я сделала? – постоянно спрашивала девочка.

Эдди держал ее, пока одевалась Марион, потом ее держала Марион, а одевался Эдди.

Рут прекратила плакать, и теперь ее больше беспокоила фотография, чем собственный палец. Они вытащили фотографию, все еще заляпанную кровью, из разбитой рамки и забрали ее с собой в машину, потому что Рут хотела, чтобы фотографию отвезли в больницу. Марион попыталась подготовить Рут к накладке швов и к тому, что будет по меньшей мере один укол. На самом деле уколов было два – лидокаиновая инъекция до швов, а потом противостолбнячная сыворотка. Несмотря на глубину, порез был такой чистый и такой тонкий, что Марион была уверена: больше двух или трех швов не потребуется и сколь-нибудь заметного шрама не останется.

– Что такое шрам? – спросила девочка. – Я умру?

– Нет, ты не умрешь, детка, – заверила ее мать.

Потом разговор перешел на другую тему: как будут лечить фотографию. Когда дела в больнице закончатся, они возьмут фотографию в магазин в Саутгемптоне, где продаются рамки, и оставят ее там, чтобы подобрали новую. Рут снова начала плакать, потому что не хотела оставлять фотографию ни в каком магазине, но Эдди объяснил, что нужно сделать новую матировку, новую рамку, новое стекло.

– Что такое матировка? – спросила девочка.

Когда Марион показала Рут кровавое пятно на матировке (но не фотографию), девочка пожелала узнать, почему пятно не красное; кровь высохла и стала коричневой.

– Я тоже стану коричневой? – спросила Рут. – Я умру?

– Нет-нет, детка, ты не умрешь. Ничего ты не умрешь, – повторяла ей Марион.

Рут, конечно же, плакала и когда ей делали уколы, и когда накладывали швы – всего два. Доктор удивился тому, какой идеально ровной оказалась ранка: подушечка указательного пальца правой руки была рассечена ровно надвое. Ни один хирург не смог бы специально разрезать такой маленький пальчик точно посередине, даже с помощью скальпеля.

Когда они, оставив фотографию в магазине, поехали к дому, Рут замерла на коленях матери. Эдди вел машину назад в Сагапонак, шурясь в лучах утреннего солнца. Марион опустила козырек со стороны пассажирского сиденья, но Рут была такой маленькой, что солнце светило ей прямо в лицо, и она поворачивалась к матери. Внезапно Марион стала смотреть в глаза дочери, в особенности в правый глаз Рут.

– Что случилось? – спросил Эдди. – У нее что-то в глазу?

– Нет, ничего, – ответила Марион.

Девочка приникла к матери, которая козырьком ладони загораживала лицо дочери от солнечных лучей. Уставшая от слез Рут заснула еще до того, как они доехали до Сагапонака.

– Что ты там видела? – спросил Эдди у Марион, которая снова смотрела куда-то вдаль, ничего не видя перед собой (но не видела она все же не так, как прошлой ночью, когда Эдди спросил ее о несчастном случае с мальчиками). – Скажи мне, – попросил он.

Марион показала на дефект в радужке своего правого глаза, этот желтый шестигранник, которым часто восхищался Эдди; он много раз говорил ей, что любит это крошечное желтое пятнышко в ее глазу, то, как в определенных лучах света или при непредсказуемом угле отражения оно могло превращать ее глаз из голубого в зеленый.

Хотя глаза у Рут были карие, Марион разглядела в радужке правого глаза Рут тот же самый ярко-желтый шестигранник. Когда четырехлетняя девочка моргнула в солнечных лучах,

шестигранник продемонстрировал свою способность превращать правый глаз Рут из карего в янтарный.

Марион по-прежнему прижимала спящую дочь к груди, одной рукой защищая лицо девочки от солнца. Эдди никогда прежде не видел, чтобы Марион проявляла такую физическую любовь к Рут.

– Твой глаз очень... необычный, – сказал шестнадцатилетний мальчишка. – Это как родимое пятно, только более таинственное...

– Бедная девочка! – прервала его Марион. – Я не хочу, чтобы она была похожа на меня!

Миссис Вон отправляется на помойку

Следующие пять или шесть дней, до снятия швов с пальца, Рут не возили на пляж. У нянек появилась дополнительная забота – следить за тем, чтобы Рут не намочила порез, и это их раздражало. Эдди почувствовал, как возросло напряжение в отношениях между Тедом и Марион; они и прежде избегали встреч, но теперь и вовсе прекратили разговаривать и даже смотреть друг на друга, а если один из них хотел выразить свою досаду другому, то делал это через Эдди. Например, Тед считал, что это Марион виновата в травме Рут, хотя Эдди несколько раз говорил ему, что именно он дал Рут фотографию.

– Дело не в этом, – сказал Тед. – Дело в том, что ты вообще не должен был заходить в ее спальню – это обязанность матери.

– Я вам уже говорил – Марион спала, – солгал Эдди.

– Сомневаюсь, – сказал парню Тед. – Сомневаюсь, что «спала» точно описывает состояние Марион. Я бы предположил, что она вырубилась. Разве нет?

Эдди, не уверенный в том, что имеет в виду Тед, сказал:

– Она не была пьяна, если вы это хотите сказать.

– Я не говорил, что она пьяна – она никогда не бывает пьяной, – сказал Тед Эдди. – Я сказал, что она вырубилась. Разве нет?

Эдди не знал, что на это сказать. Он доложил о проблеме Марион.

– Ты сказал ему – почему? – спросила она парнишку. – Ты сказал ему, о чем ты спросил меня?

Эдди был потрясен.

– Нет, конечно же нет, – сказал шестнадцатилетний мальчишка.

– Скажи ему! – воскликнула Марион.

И Эдди сказал Теду, что случилось, когда он спросил у Марион о том несчастном случае.

– Наверно, это я вырубил ее, – объяснил Эдди. – Я вам говорю – это моя вина.

– Нет, это вина Марион, – гнул свое Тед.

– Господи, да кому какая разница, чья это вина, – сказала Марион Эдди.

– Мне есть разница, – сказал Эдди. – Это я принес фотографию в комнату Рут.

– Дело не в фотографии, не будь таким глупеньким, – сказала шестнадцатилетнему мальчишке Марион. – Тут, Эдди, твое дело сторона.

Парень был потрясен, поняв, что она права. Эдди О'Хара оказался втянутым в отношения, которые стали самыми важными в его жизни; и тем не менее, если вопрос касался того, что происходило между Тедом и Марион, то тут его дело было сторона.

А Рут тем временем каждый день спрашивала о невозвращенной фотографии; каждый день кто-нибудь звонил в магазин в Саутгемптоне, но матировка и подбор рамки для одной-единственной фотографии размером восемь на семь явно не были приоритетны для владельца магазина в пик сезона.

Будет ли на новой матировке пятнышко крови? Рут хотела это знать. (Нет, не будет.) Будут ли новая рамка и стекло точно такие же, как старые? (Будут очень похожие.)

И каждый день и каждый вечер Рут вела нянек, или мать, или отца, или Эдди по фотогалерее в доме Коулов. Если она тронет эту фотографию – стекло порежет ее? Если она уронит эту, то есть ли и тут стекло и разобьется ли оно? И вообще, почему стекло бьется? И если стекло может вас порезать, то зачем держать в доме стекло?

Но еще до нескончаемых вопросов Рут август подошел к своей середине. По ночам стало заметно прохладнее. Даже в собачьей будке спать стало вполне комфортно. Однажды ночью, когда Эдди и Марион спали там, Марион забыла накинуть полотенце на мансардное окно. Рано

утром их разбудила низко летящая стая гусей. Марион сказала: «Уже полетели на юг?» Больше весь этот день она не разговаривала ни с Эдди, ни с Рут.

Тед радикальным образом переписал «Шум – словно кто-то старается не шуметь»: в течение недели он каждое утро давал Эдди полностью переработанную рукопись, и Эдди в тот же день ее перепечатывал заново, а на следующее утро к нему поступала новая переработка Теда. Только-только начал Эдди чувствовать себя настоящим секретарем писателя, как процесс переработки закончился. Эдди больше не видел «Шум – словно кто-то старается не шуметь» до его выхода из печати. Хотя для Рут эта книга стала самой любимой из всего написанного отцом, для Эдди она таковой не была – он видел слишком много ее промежуточных вариантов, чтобы по достоинству оценить окончательный.

А за день до того как Рут сняли швы, в почте обнаружился толстый конверт для Эдди от отца. В нем были имена и адреса всех живых экзонианцев, проживающих в Гемптонах, это был тот самый список, который Эдди выкинул в помойку на пароме, пересекая Лонг-Айлендский пролив. Кто-то нашел конверт с напечатанным обратным адресом Экзетерской академии и аккуратно написанным именем старшего О'Хары – уборщица, или кто-то из экипажа парома, или какой-нибудь тип, сующий нос во все помойки. Кто бы ни был этим идиотом, он или она вернули список Мятному О'Харе.

«Ты должен был мне сообщить, что потерял список, – писал отец Эдди. – Я бы переписал имена и адреса и переслал бы тебе. Слава богу, кто-то смог оценить важность этих бумаг. Примечательный акт человеческой доброты – и это в то время нашей истории, когда акты доброты становятся редкостью. Кто бы это ни был, мужчина или женщина, он даже не потребовал компенсации почтовых расходов! Наверно, все решило название Экзетера на конверте. Я тебе всегда говорил, что трудно переоценить влияние доброго имени академии...» Мятный писал Эдди, что добавил одно имя и адрес – экзонианец, проживавший неподалеку от Уэйнскотта, по непонятной причине не попал в первоначальный список.

Для Теда время это тоже было трудным. Рут заявила, что у нее от швов кошмары по ночам; кошмары у нее случались главным образом, когда в доме дежурил Тед. Однажды ночью девочка, заливаясь слезами, звала мать – только мамочка (и, к еще большему раздражению Теда, – Эдди) могла утешить ее. Теду пришлось звонить им в собачью будку и просить приехать. Потом Эдди пришлось взять Теда в собачью будку, где, как воображал Эдди, отпечатки его и Марион тел были все еще видны на (возможно, все еще теплой) кровати.

Когда Эдди вернулся в дом Коулов, свет во всех комнатах наверху горел. Рут можно было успокоить, только нося ее от фотографии к фотографии. Эдди вызвался завершить экскурсию, чтобы Марион могла лечь в постель, но Марион, казалось, доставляет удовольствие эта прогулка по дому. На самом же деле Марион знала, что это, вероятно, ее последнее путешествие с дочерью на руках по фотографической истории ее мертвых мальчиков. Марион удлиняла рассказы, связанные с каждой из фотографий. Эдди уснул в своей комнате, но дверь в коридор второго этажа не закрыл, и некоторое время до него еще доносились голоса Марион и Рут.

По вопросам девочки Эдди понимал, что мать с дочерью рассматривают фотографию Тимоти (в средней гостевой спальне) – плачущего и покрытого грязью.

– Но что случилось с Тимоти? – спросила Рут, хотя знала эту историю не хуже Марион. Теперь уже и Эдди знал все эти истории.

– Томас толкнул его в лужу, – сказала Марион.

– А сколько лет испачканному Тимоти? – спросила Рут.

– Сколько тебе, детка, – сказала ей мать. – Ему тогда было ровно четыре...

Эдди знал и следующую фотографию – Томас в своей хоккейной форме на экзетерском катке. Он стоит, обнимая мать одной рукой, словно она замерзла за то время, пока он играл, но еще, похоже, она горда тем, что стоит там вместе с обнимающим ее сыном; на том, как это ни

глупо, нет коньков, которые он уже снял, но он в полной хоккейной форме и в незашнурованных баскетбольных кедах. Томас выше Марион. Рут в этой фотографии нравилось, что Томас широко улыбается, зажав зубами хоккейную шайбу.

Перед тем как ему заснуть, Эдди услышал очередной вопрос Рут:

– А сколько Томасу с этой штукой во рту?

– Столько, сколько Эдди, – услышал Эдди ответ Марион. – Ему только-только исполнилось шестнадцать...

Около семи утра зазвонил телефон. Марион, еще лежавшая в кровати, сняла трубку. По молчанию она догадалась, что это миссис Вон.

– Он в другом доме, – сказала Марион и повесила трубку.

За завтраком Марион сказала Эдди:

– Хочешь пари? Он порвет с ней еще до того, как Рут снимут швы.

– Но ведь швы снимают в пятницу, разве нет? – спросил Эдди. (До пятницы оставалось только два дня.)

– Он порвет с ней еще сегодня, – ответила Марион. – Или, по крайней мере, попытается. Если она станет упираться, то, может, ему потребуется еще пара дней.

Миссис Вон и в самом деле стала упираться. Тед, видимо предчувствуя эти трудности, попытался порвать с миссис Вон, послав к ней Эдди, чтобы тот сделал это за него.

– Что-что я должен сделать? – спросил Эдди.

Они стояли у самого большого стола в мастерской Теда, на который Тед уложил кипу из приблизительно ста рисунков, изображающих миссис Вон. Тед не без труда застегнул туго набитый портфель – это был самый большой из его портфелей, с его инициалами, вытисненными золотом на коричневой коже, – Т. Т. К. (Теодор Томас Коул).

– Ты отдашь ей рисунки, но без портфеля. Отдай ей одни рисунки. Портфель мне нужен, – проинструктировал Тед Эдди, который знал, что этот портфель – подарок Марион. (Об этом Эдди сказала сама Марион.)

– Но разве вы не увидите сегодня с миссис Вон? – спросил Эдди. – Разве она не ждет вас?

– Скажи ей, что я не приеду, но хочу, чтобы у нее остались рисунки, – сказал Тед.

– Но она спросит меня, когда вы приедете? – ответил Эдди.

– Скажи ей, что не знаешь. Просто отдай ей рисунки. И постарайся говорить как можно меньше, – сказал Тед парнишке.

У Эдди едва хватило времени, чтобы сообщить об этом поручении Марион.

– Он посылает тебя, чтобы ты порвал с ней за него – какой трус! – сказала Марион, прикасаясь к волосам Эдди тем своим привычным материнским жестом. Он был уверен, сейчас она выскажет вечное свое недовольство его стрижкой. Но она вместо этого сказала: – Лучше поезжай пораньше, когда она еще будет одеваться. В таком виде у нее будет меньше искушения пригласить тебя в дом. Ведь ты же не хочешь, чтобы она задавала тебе тысячу вопросов. Лучше всего позвонить и вручить ей рисунки. Ты же не хочешь, чтобы она завела тебя внутрь и закрыла двери. Поверь мне – тебе это не нужно. И будь осторожнее, чтобы она тебя не убила.

Держа в уме эти советы, Эдди прибыл на Джин-лейн пораньше. Он остановился перед впечатляющей живой изгородью из бирючины, у въезда на усыпанную дорожущим гравием дорожку, чтобы вытащить из кожаного портфеля сотню изображений миссис Вон. Он опасался, что может возникнуть неловкость, если он отдаст миссис Вон рисунки и заберет портфель, пока рассвирепевшая маленькая женщина будет стоять перед ним. Но Эдди не учел ветра. Засунув портфель в багажник «шевроле», он положил рисунки на заднее сиденье, где ветер превратил их в беспорядочную кипу. Ему пришлось закрыть окна и двери «шевроле», чтобы аккуратно разложить рисунки на заднем сиденье. Тогда он помимо своей воли и увидел их.

Они начинались с портретов миссис Вон вместе с ее насупленным маленьким мальчиком. Небольшие, плотно сжатые рты сына и матери поразили Эдди своими недобрыми наследственными очертаниями. Еще у миссис Вон и ее сына были пронзительные, нетерпеливые глаза; они сидели друг подле друга, сжав пальцы в кулаки и напряженно положив их на бедра. Сын миссис Вон, сидевший на коленях матери, был, казалось, на грани истерики; вот-вот, отбиваясь ногами и руками, он сорвется со своего сидалища, если только она (тоже, казалось, готовая сорваться в истерику) не успеет его придушить. Таких портретов было дюжины две, и в каждом из них сквозили хроническое недовольство и растущая напряженность.

Потом пошли портреты одной миссис Вон – сначала полностью одетой, но глубоко одинокой. Эдди сразу же проникся к ней сочувствием. Если поначалу Эдди обратил внимание лишь на пугливые повадки миссис Вон, уступившие затем место покорности, которая наконец привела ее к отчаянию, то теперь он понял, что не заметил, насколько она несчастна. Тед Коул уловил эту ее особенность еще до того, как она начала раздеваться.

Своя динамика была и у ню. Поначалу сжатые кулаки оставались на напряженных бедрах, и миссис Вон сидела в профиль, нередко то одно, то другое плечо скрывало от взгляда ее маленькую грудь. Когда наконец она оказалась лицом к художнику, ее погубителю, то сначала обхватывала руками себя за плечи, чтобы спрятать груди, а колени плотно прижимала друг к другу; пах ее по большей части оставался не виден – лобковые волосы, если и были заметны, намечались лишь самыми тонкими штрихами.

Потом Эдди застонал в своей закрытой машине – более поздние ню миссис Вон были бесстыдны и откровенны, словно фотографии трупа. Руки ее безвольно висели по бокам, словно она вывихнула их при падении. Ее обнаженные и ничем не поддерживаемые груди болтались, сосок одной груди казался больше, и темнее, и более отвислым, чем другой. Колени ее были разведены в стороны, словно она утратила способность управлять своими ногами или же у нее был сломан таз. Для такой маленькой женщины пупок у нее был слишком велик, а лобковые волосы – слишком обильны. Морщинистая вагина разверзлась. Самые последние из ню были первыми порнографическими рисунками, которые довелось видеть Эдди О’Харе, хотя Эдди и не полностью понимал, *что* в них было порнографического. Эдди испытывал неловкость и глубоко сожалел, что заглянул в эти рисунки, которые сводили миссис Вон к отверстию у нее в центре. На этих ню миссис Вон выглядела еще отвратительнее, чем то, что оставалось от ее сильного запаха на подушках в арендуемом доме.

Хруст идеально ровных камушков под колесами «шеви» на подъездной дорожке, ведущей к особняку миссис Вон, напоминал звук ломающихся костей каких-то маленьких животных. Миновав действующий фонтан на круговой дорожке, Эдди заметил, как дернулась штора в окне наверху. Позвонив, он чуть не выронил рисунки, которые мог держать, только прижимая обеими руками к груди. Он прождал целую вечность, пока в дверях не появилась маленькая темноволосая женщина.

Марион была права. Миссис Вон еще не закончила процедуру одевания или, возможно, не завершила точно выверенный этап *раздевания*, которое вполне могла предпринять, чтобы выглядеть соблазнительной для Теда. Волосы у нее были влажные и гладкие, а верхняя губа намажена наспех; в одном уголке рта остался след крема для удаления волос, который она в спешке неудачно стерла с лица, так что она напоминала клоуна, улыбающегося одной стороной лица. Выбор халата тоже свидетельствовал о том, что миссис Вон спешила: она стояла в дверях в белом махровом одеянии, походившем на гигантское, несуразное полотенце. Возможно, это был халат ее мужа, потому что он висел ниже ее худых щиколоток, и одна его пола волочилась по порогу. Она стояла босиком. Влажный лак для ногтей на крупных пальцах ее правой ноги был смазан, отчего возникало впечатление, будто она порезалась и ранка кровоточит.

– В чем дело? – спросила миссис Вон. Потом она кинула взгляд за спину Эдди на машину Теда. Прежде чем Эдди успел ответить, она спросила: – Где он? Он что – не придет? Что случилось?

– Он не смог, – сообщил ей Эдди, – но он просил меня передать вам... вот это. – На ветру он не отваживался отдать ей рисунки, продолжая неловко прижимать их к груди.

– Не смог? – повторила она. – Что это означает?

– Не знаю, – солгал Эдди. – Но тут вот все эти рисунки... Можно, я положу их куда-нибудь? – умоляющим голосом сказал он.

– Какие рисунки? Ах... рисунки! А-а... – сказала миссис Вон, словно кто-то ударил ее в живот.

Она шагнула назад, наступив на длинный белый халат, и чуть не упала. Эдди последовал за ней внутрь, чувствуя себя ее палачом. В полированном мраморном полу отражалась люстра; вдалеке, за открытыми двойными дверями, виднелась вторая люстра – над обеденным столом. Дом напоминал художественный музей, а столовая вдалеке была огромна, как банкетный зал. Эдди прошествовал (ему показалось, что он прошел целую милю) до стола, положил на него рисунки и, лишь повернувшись, понял, что миссис Вон следовала за ним вплотную и безмолвно, как тень. Увидев верхний рисунок – один из тех, на которых миссис Вон была изображена с сыном, – она вздохнула.

– Он отдает их мне! – воскликнула она. – Ему они не нужны?

– Не знаю, – сказал страдающий Эдди.

Миссис Вон принялась быстро листать рисунки, пока не дошла до первого ню, после чего перевернула кипу и взяла последний рисунок из-под низа, который теперь стал верхом. Эдди начал отступать к двери – он видел последний рисунок.

– А-а... – сказала миссис Вон, словно ее ударили снова. – А когда он придет? – задала она вопрос в спину Эдди. – Он ведь придет в пятницу, да? В пятницу у меня для него весь день свободен – он знает: у меня свободен целый день. Он знает!

Эдди старался не останавливаться. Он слышал шаги ее босых ног по мраморному полу – она стремглав бежала за ним. Она догнала его под большим канделябром.

– Стой! – прокричала она. – Он придет в пятницу?

– Я не знаю, – повторил Эдди, отступая к двери.

Ветер попытался задержать его внутри.

– Нет, ты знаешь, знаешь! – завопила миссис Вон. – Скажи мне!

Она вышла за ним на улицу, но ветер чуть не сбил ее с ног. Полы ее халата распахнулись, она с трудом снова запахнула их. У Эдди на всю жизнь сохранилось в памяти это видение, словно для того, чтобы напоминать ему о худшей разновидности наготы – абсолютно отталкивающий вид отвислых грудей миссис Вон и темный треугольник ее спутанных лобковых волос.

– Стой! – крикнула она еще раз, но острые камни дорожки не позволили ей пуститься за Эдди до машины.

Она нагнулась, сгребла рукой горсть камушков и швырнула их в Эдди. Большинство из них попали в машину.

– Он показывал тебе эти рисунки? Ты видел их? Черт бы тебя драл – ты видел их, видел? – прокричала она.

– Нет, – солгал Эдди.

Миссис Вон наклонилась, чтобы схватить еще горсть камушков, но порыв ветра чуть не сбил ее с ног. Входная дверь захлопнулась, произведя звук, похожий на пушечный выстрел.

– Боже мой! Мне теперь не попасть внутрь! – сказала она Эдди.

– А разве тут нет другой, незапертой двери? – спросил он. (В особняке должно было быть не меньше дюжины дверей!)

– Я думала, сейчас приедет Тед. Он просит, чтобы все двери были закрыты, – сказала миссис Вон.

– А вы не прячете где-нибудь ключи на всякий пожарный случай? – спросил Эдди.

– Садовника я отправила домой. Тед не любит, когда тут шляется садовник, – сказала миссис Вон. – Такой ключ есть у садовника.

– А вы не можете позвонить садовнику?

– Где я возьму телефон? – прокричала миссис Вон. – Тебе придется пробраться внутрь.

– Мне? – спросил шестнадцатилетний мальчишка.

– Но ты ведь знаешь, как это делается? – спросила маленькая темноволосая женщина. – Я-то ничего такого не знаю! – взывала она.

Из-за работающего кондиционера все окна были закрыты, а кондиционер должен был работать из-за коллекции картин, которая была еще одной причиной, почему окна держались закрытыми. Сзади из сада в дом вели балконные двери, но миссис Вон предупредила Эдди, что там особо толстое стекло, к тому же укрепленное специальной сеткой, что делало его практически непробиваемым. Он снял с себя футболку, завязал в нее камень и после нескольких ударов сумел-таки разбить это стекло, но ему все еще нужно было найти какой-нибудь садовый инструмент, чтобы раздвинуть сетку и, просунув внутрь руку, отпереть замок. Камень, который лежал в поилке для птиц в саду, испачкал футболку Эдди, которую к тому же распорол разбившееся стекло. Он решил оставить свою футболку, камень и разбитое стекло у открытых теперь дверей. Но миссис Вон, которая оказалась на улице босиком, потребовала, чтобы он занес ее в дом через балконные двери – она боялась порезаться о разбитое стекло. Эдди с голой грудью понес ее в дом, но, прежде чем поднять ее на руки, он постарался не оплошать и не попасть рукой по другую сторону халата. Весила она всего ничего, едва ли больше, чем Рут, но когда он поднял ее на руки, пусть всего и на несколько секунд, то от ее сильного запаха чуть не потерял сознания. Ее запах невозможно было описать. Эдди не мог сказать, чем она пахла, только от этого запаха у него возник рвотный спазм. Когда он поставил ее на пол, она почувствовала его неприкрытое отвращение.

– У тебя такой вид, будто тебе противно, – сказала она ему. – Как ты смеешь... Как ты смеешь воротить нос от меня?

Эдди стоял в комнате, в которой не был прежде. Он не знал, как ему пройти к большой люстре у главного входа, а когда он повернулся было к балконным дверям, выходящим в сад, перед ним предстал лабиринт открытых дверей – он не смог бы найти двери, через которые только что вошел.

– Как мне выйти отсюда? – спросил он миссис Вон.

– Как ты смеешь воротить нос от меня? – повторила она. – Ведь и ты не такой уж чистенький, разве нет? – спросила она у парня.

– Пожалуйста... я хочу домой, – сказал ей Эдди.

И только произнеся эти слова, он понял, что именно это и имел в виду, и имел он в виду Экзетер, Нью-Гемпшир, а не Сагапонак. Эдди имел в виду, что ему и в самом деле хочется домой. Эту слабость он пронесет через всю свою последующую жизнь: ему едва удавалось сдерживать слезы, когда он сталкивался с женщинами старше его, – так он плакал когда-то перед Марион, так он сейчас начал плакать перед миссис Вон.

Не говоря больше ни слова, она взяла его за руку и повела через свой дом-музей к люстре парадного входа. Ее маленькие холодные пальцы напоминали впившиеся в руку птичьи коготки – словно в него вцепился миниатюрный попугай. Она открыла дверь и вытолкнула его на ветер, а сквозняк внутри дома захлопнул несколько дверей, и когда Эдди повернулся, чтобы попрощаться с ней, то увидел вихрящиеся в воздухе жуткие рисунки Теда – ветер снес их со стола.

Эдди, как и миссис Вон, не мог произнести ни слова. Увидев порхающие за ее спиной рисунки, она развернулась в своем большом белом халате, словно готовясь отразить удар. И пока ветер опять не захлопнул парадную дверь, которая произвела звук, похожий на второй пушечный выстрел, миссис Вон так и не поменяла позу. По этим рисункам она наверняка поняла, по крайней мере, степень, в какой позволила совершить над собой насилие.

– Она кидала в тебя камни? – спросила Марион Эдди.

– Маленькие камушки – большинство из них попало в машину, – сказал Эдди.

– И она заставила тебя нести ее? – спросила Марион.

– Она была босая, – еще раз объяснил Эдди. – А там повсюду было битое стекло!

– И ты оставил там свою футболку? Почему?

– Она стала грязная и драная – но это всего лишь футболка.

Что касается Теда, то его разговор с Эдди был немного другим.

– Что она имела в виду, говоря, что у нее будет «целый день» – пятница? – спросил Тед. –

Она что – полагает, что я проведу с ней целый день?

– Не знаю, – ответил шестнадцатилетний парнишка.

– Почему она решила, что ты видел рисунки? – спросил Тед. – Ты что, и в самом деле просматривал их?

– Нет, – солгал Эдди.

– Да вижу я, что просматривал, – сказал Тед.

– Она была голышом передо мной, – сказал ему Эдди.

– Господи милостивый! Что-что она сделала?

– Она не нарочно, – признался Эдди. – Но все равно голышом. Это ветер – распахнул на ней полы.

– Господи Иисусе... – сказал Тед.

– Дверь за ней захлопнулась, и она из-за вас не могла попасть в дом, – сказал ему Эдди. –

Она сказала, что вы хотели, чтобы все двери были заперты, и не любили, когда поблизости ошивается садовник.

– Это она тебе сказала?

– Мне пришлось разбить балконную дверь, чтобы попасть в дом. Я взял камень из поилки для птиц. И мне пришлось нести ее по битому стеклу, – пожаловался Эдди. – Я испортил футболку.

– Кого волнует твоя футболка? – заорал Тед. – Я не могу провести с ней *целый день* – пятницу! Ты меня отвезешь туда с самого утра в пятницу, но должен будешь вернуться за мной через сорок пять минут. Нет, через полчаса! Я не смогу оставаться сорок пять минут с этой сумасшедшей.

– Ты должен довериться мне, Эдди, – сказала ему Марион. – Я тебе скажу, *что* мы сделаем.

– Хорошо, – сказал Эдди.

У него из головы не выходили худшие из рисунков. Он хотел рассказать Марион о запахе миссис Вон, но не мог описать его.

– В пятницу утром ты отвезешь его к миссис Вон, – начала Марион.

– Я знаю! – сказал мальчишка. – На полчаса.

– Нет, не на полчаса, – сообщила Марион шестнадцатилетнему парню. – Ты оставишь его с ней и не вернешься за ним. Чтобы добраться домой без машины, ему понадобится чуть не весь день. Могу держать пари на что угодно – миссис Вон не предложит его подвезти.

– Но что же он будет делать? – спросил Эдди.

– Ты не должен бояться Теда, – еще раз сказала ему Марион. – Что он будет делать? Возможно, он вспомнит, что единственный, кого он знает в Саутгемптоне, – это доктор Леонардис. – (Дейв Леонардис был одним из регулярных напарников Теда по сквошу.) – Чтобы дойти до кабинета доктора Леонардиса, Теду понадобится минут сорок – сорок пять, – продолжила Марион. – А что он будет делать потом? Ему придется ждать целый день, пока Леонардис не разберется со своими пациентами, и только после этого Леонардис сможет подвезти его домой, если только среди пациентов не окажется какой-нибудь знакомый Теда или не подвернется какая-нибудь попутная машина до Сагапонака.

– Тед будет в ярости, – предупредил ее Эдди.

– Ты должен довериться мне, Эдди.

– Хорошо.

– Ты отвезешь Теда к миссис Вон, а потом вернешься сюда и возьмешь Рут, – продолжила Марион. – После этого ты отвезешь ее к доктору снять швы. Затем я хочу, чтобы ты отвез Рут на пляж. Пусть она поплещется в водичке – отпразднует снятие швов.

– Извини, – прервал ее Эдди, – но почему одна из няnek не может отвезти ее на пляж?

– В пятницу няnek не будет, – сообщила ему Марион. – Мне нужен день или хотя бы большая его часть, чтобы побыть здесь одной.

– Но что ты собираешься делать? – спросил Эдди.

– Я тебе все скажу, – повторила она. – Ты просто должен полностью довериться мне.

– Хорошо, – сказал Эдди, впервые чувствуя, что не может довериться Марион, по крайней мере полностью. Ведь в конечном счете он был ее пешкой; однажды он уже почувствовал все прелести того, что значит быть пешкой.

– Я видел изображения миссис Вон, – признался он Марион.

– Боже милостивый, – сказала она ему.

Теперь ему не хотелось плакать, но он позволил ей притянуть его лицо к ее груди и удерживать его там, пока он пытался объяснить ей, что чувствует.

– На этих рисунках она была даже больше чем голая, – начал он.

– Я знаю, – прошептала ему Марион. Она поцеловала его в затылок.

– Не в том дело, что она была голая, – продолжал Эдди. – А в том, что ты словно можешь видеть все, через что она прошла. У нее был такой вид, словно ее пытали или что-нибудь такое.

– Я знаю, – снова сказала Марион. – Мне очень жаль...

– И еще ветер распахнул полы ее халата, и я *видел* ее, – выпалил Эдди. – Это продолжалось всего секунду, но я словно узнал про нее все.

И тут он понял, что такого было в запахе миссис Вон.

– А когда мне пришлось поднять ее и нести, – сказал Эдди, – я обратил внимание на ее запах – как на подушках, только сильнее. Меня чуть не вырвало.

– И что же это был за запах? – спросила его Марион.

– Как от чего-то мертвого, – сказал ей Эдди.

– Бедная миссис Вон, – промолвила Марион.

Какие могут быть поводы для паники в десять утра?

В пятницу, незадолго до восьми утра, Эдди заехал за Тедом в собачью будку, чтобы отвезти его в Саутгемптон на – как полагал Тед – получасовую встречу с миссис Вон. Эдди сильно нервничал, и не только из опасения, что Теду придется держать миссис Вон в объятиях несколько дольше, чем тот предполагал. Марион более или менее расписала день Эдди. Ему многое нужно было запомнить.

Когда они с Тедом остановились выпить кофе в сагапонакском универсаме, Эдди знал все о припаркованном там грузовике. Два здоровяка грузчика в кабине попивали кофе и читали утренние газеты. Когда Эдди вернется от миссис Вон – чтобы отвезти Рут к врачу для снятия швов, – Марион отправится за грузчиками. Грузчики, как и Эдди, получили инструкции и знали, что им нужно делать: ждать в магазине, пока Марион не приедет за ними. Тед и Рут – и няньки, которых отпустили на этот день, – никогда не увидят грузчиков.

К тому времени когда Тед доберется до дома из Саутгемптона, грузчики (и все, что Марион решила взять с собой) уже исчезнут. Исчезнет и сама Марион. Она предупредила об этом Эдди. Эдди придется самому все объяснять Теду: этот сценарий Эдди и повторял про себя на пути в Саутгемптон.

– Но кто объяснит все это Рут? – спросил Эдди.

И тут на лице Марион появилось то самое выражение, которое уже видел Эдди, когда спросил ее о несчастном случае с ее мальчиками, – она словно перестала видеть то, что было перед ней. Марион явно не проработала сценарий в той части, где кто-то объясняет все это Рут.

– Когда Тед спросит у тебя, куда я уехала, ты ему просто скажи, что не знаешь, – сказала Марион Эдди.

– А куда ты уезжаешь? – спросил Эдди.

– Я не знаю, – повторила Марион. – Если Тед будет настаивать на более точном ответе – скажи, что с ним свяжется мой адвокат. Мой адвокат скажет ему все, что нужно.

– Ах, так – понятно, – сказал Эдди.

– А если он тебя ударит – можешь ударить его в ответ. Кстати, он не сжимает руку в кулак – в худшем случае отвесит тебе пощечину. Но ты должен бить кулаком, – посоветовала Марион Эдди. – Стукни его по носу. Если ты стукнешь его по носу, он сразу остановится.

Но как быть с Рут? Планы касательно нее были туманны. Если Тед начнет кричать, то что из его криков можно слышать Рут? Если начнется драка, то какую ее часть можно видеть девочке? Раз няньки нынче выходные, Рут может остаться только с Тедом или Эдди. Или с ними обоими. Почему Марион уверена, что девочка не раскапризничается?

– Если понадобится помощь с Рут, можешь позвонить Алис, – посоветовала Эдди Марион. – Я сказала Алис, что ты или Тед, может быть, будете звонить ей. Я даже попросила ее позвонить к нам домой днем – чтобы узнать, не нужна ли она здесь.

Алис была дневной нянькой – хорошенькая студентка с собственной машиной. Эта нянька меньше всего нравилась Эдди, о чем он и напомнил Марион.

– А ты бы был с ней поласковой, – ответила Марион. – Если Тед выкинет тебя – а я не могу себе представить, что он пожелает, чтобы ты остался, – то кто-то должен будет довезти тебя до паром в Ориент-Пойнте. Теду запрещено садиться за руль, ты это знаешь. К тому же вряд ли он захочет везти тебя.

– Тед меня выкинет, и я должен буду попросить Алис, чтобы она меня подвезла, – повторил Эдди.

Марион просто поцеловала его.

И вот этот момент наступил. Когда Эдди остановился у скрытого подъезда к дому миссис Вон, Тед сказал:

– Лучше тебе подождать меня здесь. Я с этой женщиной полчаса не выдержу. Может двадцать минут – максимум. Может, десять...

– Я отъеду и вернусь, – солгал Эдди.

– Возвращайся через пятнадцать минут, – сказал ему Тед.

Потом он заметил длинные лоскуты знакомой ему бумаги для рисования. Ветер играл ключьями его рисунков, разорванных на куски. Изгородь из бирючины не выпустила большую часть этих клочьев на улицу, но на живой изгороди реяли флажки из клочьев бумаги, словно какие-то буйные свадебные гости забросали участок Вонов самодельным конфетти.

Тед шел по шумливой подъездной дорожке медленным нерешительным шагом, а Эдди вышел из машины посмотреть, он даже прошел несколько шагов за Тедом. Дворик был заброшен обрывками Тедовых рисунков. Плюющийся фонтан был забит разбухшими клочками бумаги, а вода приобрела коричневатый оттенок сепии.

– Кальмаровые чернила... – громко сказал Эдди, спиной отступая к машине.

Он увидел садовника на лестнице, снимающего бумагу с бирючины. Садовник сердито посмотрел на Теда и Эдди, но Тед не заметил ни садовника, ни бумаги – его внимание было целиком поглощено кальмаровыми чернилами, окрасившими воду в фонтане.

– Ну и ну, – пробормотал он в тот момент, когда Эдди скрылся из виду.

Садовник был одет лучше Теда. В одежде Теда всегда присутствовала какая-то небрежность и беспорядочность – джинсы с заправленной в них футболкой и (в это прохладное пятничное утро) незастегнутая фланелевая рубашка, которую трепал ветер. И в это утро Тед был еще и небрит – он из кожи вон лез, чтобы произвести наихудшее впечатление на миссис Вон. (Тед и его рисунки уже произвели наихудшее впечатление на садовника миссис Вон.)

– Пять... Пять минут! – крикнул Тед Эдди.

С учетом предстоящего долгого дня вряд ли имело какое-то значение то, что Эдди не услышал его.

В Сагапонаке Марион упаковала большой пляжный мешок для Рут, на которой под шортами и футболкой уже был купальный костюмчик. В мешке лежали полотенца и две перемены одежды, включая длинные трусики и футболку.

– На обед можешь ее увезти куда хочешь, – сказала Марион Эдди. – Она ест только сэндвич с сыром на гриле с картофелем фри.

– И кетчупом, – сказала Рут.

Марион попыталась всучить Эдди десять долларов на обед.

– У меня есть деньги, – сказал ей Эдди, но когда он повернулся к ней спиной, чтобы посадить Рут в машину, Марион засунула десятку в задний карман его джинсов.

Он вспомнил то ощущение, которое испытал, когда она в первый раз подтащила его к себе, засунув пальцы за пояс джинсов и упираясь костяшками в его голый живот. Потом она расстегнула пуговицу, а за ней – молнию на ширинке, о чем он вспоминал каждый раз, раздеваясь, в течение следующих пяти или десяти лет.

– Помни, детка, – сказала Марион Рут, – чтобы никаких слез у доктора, когда он будет снимать швы. Это не больно – я тебе обещаю.

– А можно, я оставлю ниточки себе? – спросила четырехлетняя девочка.

– Наверно... – ответила Марион.

– Конечно, ты можешь оставить их себе, – сказал ребенку Эдди.

– Пока, Эдди, – сказала Марион.

Хотя в теннис она не играла, на ней были теннисные шорты, теннисные туфли и свободная фланелевая рубашка, которая была слишком велика для нее, – рубашку она взяла из вещей Теда. Рано этим утром, когда Эдди уезжал за Тедом в собачью будку, Марион взяла его руку, засунула ее под рубашку и прижала к своей голой груди, но когда он попытался поцеловать

ее, отодвинулась от него, и у Эдди на пальцах осталось ощущение прикосновения к ее груди, которое не пройдет следующие десять или пятнадцать лет.

– Расскажи мне о швах, – попросила Рут Эдди, когда он свернул налево.

– Ты даже почти ничего не будешь чувствовать, когда доктор станет их снимать, – сказал Эдди.

– Почему? – спросила его девочка.

Прежде чем он сделал следующий поворот, правый, в последний раз перед ним мелькнули Марион и ее «мерседес» – в зеркале заднего вида. Направо она поворачивать не будет, Эдди это знал – за грузчиками нужно было ехать прямо. Левая сторона лица Марион была освещена утренним солнцем, которое ярко светило через боковое водительское окно «мерседеса»; окно было опущено, и Эдди видел, как ветер играет волосами Марион. Прежде чем повернуть, Марион махнула ему (и дочери), словно собиралась встретиться с Эдди и Рут, когда они вернутся.

– А почему, когда снимают швы, не больно? – снова спросила Рут у Эдди.

– Потому что порез зажил, кожа затянулась, – сказал ей Эдди.

Марион теперь исчезла из виду.

«Неужели это все?» – спрашивал он себя.

«Пока, Эдди» – неужели это были ее последние слова ему? «Наверно...» было последнее слово, сказанное Марион дочери. Эдди не мог поверить, что все кончилось так резко: опущенное окно «мерседеса», ветерок треплет волосы Марион, рука Марион машет ему из окна. И только половина лица Марион освещена солнцем – остальная невидима. Эдди О'Хара не знал, что ни он, ни Рут ближайшие тридцать семь лет не увидят Марион. И все эти годы Эдди удивлялся кажущейся обыденности ее отъезда.

«Как она могла?» – спрашивал себя Эдди, и точно такой же вопрос в один прекрасный день задаст себе Рут.

Два шва были сняты так быстро, что Рут даже не успела заплакать. Четырехлетнюю девочку больше интересовали сами ниточки, чем ее почти идеальный шрам. Белизна тонкой линии была лишь немного нарушена следами йода или какого-то другого антисептика, которым они намазали ранку, – от него осталось желтовато-коричневое пятно. Теперь, когда ей снова можно мочить палец, сказал ей доктор, пятнышко сойдет после первой хорошей ванны. Но Рут больше волновали две ниточки, каждая из которых была разрезана пополам; их положили в конвертик, чтобы засохшая корочка около узелка в конце одного из них не повредилась.

– Я хочу показать мои ниточки маме, – сказала Рут. – И эту корочку.

– Давай сначала на пляж, – предложил Эдди.

– Давай сначала покажем ей корочку, а потом ниточки, – ответила Рут.

– Посмотрим... – начал Эдди.

Он подумал о том, что кабинет доктора в Саутгемптоне находится всего в пятнадцати минутах ходьбы от особняка миссис Вон на Джин-лейн. Сейчас было четверть десятого, и если Тед еще не ушел оттуда, то он пребывал в обществе миссис Вон уже целый час. Но скорее всего, Тед уже *не* пребывал в обществе миссис Вон. Но Тед мог вспомнить, что Рут сегодня утром снимают швы, и он, возможно, знал, где находится кабинет доктора.

– Давай-ка поедem на пляж, – сказал Эдди Рут. – И побыстрее.

– Сначала корочку, потом ниточки, а потом пляж, – ответила девочка.

– Давай поговорим об этом в машине, – предложил Эдди, но вести переговоры с четырехлетним ребенком не очень-то просто, и хотя не каждый раз возникают трудности, бывают случаи, на которые требуется немало времени.

– А мы забыли о фотке? – спросила Рут у Эдди.

– О фотке? – сказал Эдди. – О какой фотке?

– С ножками! – воскликнула Рут.

– Ах, фотография... она еще не готова, – сказал ей Эдди.

– Это неправильно! – заявила девочка. – Мои ниточки уже готовы. Моя ранка целиком затянулась.

– Да, – согласился Эдди. Ему пришло в голову, как отвлечь четырехлетнего ребенка от желания показать корочку и ниточки матери, прежде чем ехать на пляж. – Давай поедem в магазин и скажем им, чтобы они отдали нам фотографию, – предложил Эдди.

– Всю починенную, – добавила Рут.

– Хорошая мысль! – заявил Эдди.

Теду и в голову не придет заглянуть в этот магазин, решил Эдди, – магазин был так же безопасен, как и пляж. Сначала устроим шум из-за этой фотографии, а потом Рут и не вспомнит, что хотела показать матери корочку и швы. (Пока девочка смотрела на собаку, которая чесалась на парковке, Эдди сунул конверт с драгоценной корочкой и швами в бардачок.) Но магазин оказался несколько менее безопасным, чем полагал Эдди.

Тед не помнил, что у Рут этим утром должны снимать швы; миссис Вон не дала Теду времени на то, чтобы поразмыслить. Не прошло и пяти минут с тех пор, как он прибыл к ее дверям – и вот он уже спасался бегством от миссис Вон, которая гналась за ним по дворику до самой Джин-лейн, размахивая зубчатым ножом для резки хлеба и крича, что он – «дьявол во плоти». (Он не очень отчетливо помнил, что так называется ужасная картина в отвратительной коллекции Вонов.)

Садовник, который видел, как «художник» (так он уничижительно называл про себя Теда) с опаской приближался к особняку Вонов, был и свидетелем отважного бегства Теда – художник, спасаясь от ножа, которым миссис Вон беспощадно размахивала в воздухе рядом с ним, чуть не врезался в забитый бумагой фонтан. Тед устремился по дорожке на улицу, а его бывшая натурщица со всей силой страсти преследовала его.

Садовник, опасаясь, как бы один из них не врезался в его лестницу, высота которой составляла пятнадцать футов, надежно уцепился за верхушку высокой бирючины. С этой высоты садовник мог наблюдать за тем, как Теду удалось-таки оторваться от миссис Вон, которая прекратила преследование, немного не добежав до пересечения Джин-лейн и Вайанданч. Там, у пересечения, была еще одна высокая живая изгородь из кустов бирючины, а точка наблюдения садовника была наверху, но довольно далеко оттуда, и он разглядел только, что Тед либо исчез в зарослях изгороди, либо повернул на север – на Вайанданч-лейн, так ни разу и не оглянувшись. Миссис Вон, все еще пылавшая яростью и продолжавшая обзывать художника «дьяволом во плоти», вернулась на свою собственную подъездную дорожку.

На имение Вонов и на Джин-лейн ненадолго опустилась зловещая тишина. Тед, запутавшийся в плотной массе бирючины, едва мог пошевелить рукой, чтобы взглянуть на часы; бирючина представляла собой заросли такой плотности, что сквозь них не смог бы продраться и терьер Джека Рассела⁹. Кустарник царапал лицо и руки Теда, оставляя на них кровавые следы. Тем не менее ему удалось спастись от хлебного ножа и – пока – от миссис Вон. Но куда пропал Эдди? Тед ждал в бирючине, когда появятся знакомые очертания его «шеви» 57-го года.

Садовник, начавший нелегкие труды по уборке разодранных рисунков, изображающих его нанимательницу и ее сына, за целый час до появления Теда, давно уже перестал смотреть на то, что можно было на этих обрывках разглядеть. Даже если рассматривать эти рисунки по отдельным фрагментам, они все равно производили слишком тревожное впечатление. Садовник уже узнавал глаза своей нанимательницы, ее маленький рот и остальные части ее напряженного лица; он уже узнавал ее руки и неестественное напряжение ее плеч. Хуже того, садов-

⁹ Этот терьер славится своим охотничьим инстинктом.

ник без малейшего сомнения предпочел бы *вообразить* груди миссис Вон и ее вагину – увиденные им на уничтоженных рисунках реальности ее наготы были отталкивающими. Более того, работал он в сильной спешке, и хотя и понимал желание миссис Вон уничтожить эти рисунки, но никак не мог взять в толк, какое безумие овладело ею, когда она рвала на клочки собственные порнографические изображения и швыряла их в вихри разыгравшегося ветра, который гулял по дому при открытых дверях. С океанской стороны дома обрывки застряли в кустах шиповника, но несколько ракурсов миссис Вон с сыном протащило ветром по дорожке, и теперь их носило по берегу.

Садовнику не очень нравился сын миссис Вон; это был кичливый мальчишка – один раз он написал в поилку для птиц, а потом отказывался признаться. Но садовник еще до рождения ребенка был преданным работником семейства Вонов и, кроме этого, чувствовал ответственность перед соседями. Садовник не мог себе представить никого, кому понравились бы даже обрывки рисунков, изображающих срамные места миссис Вон; и тем не менее скорость, с которой он работал, приводя в порядок участок, значительно уменьшилась, поскольку его теперь занимала только одна мысль: что же стало с художником, а точнее, прячется ли художник в живой изгороди у соседей, или же ему удалось бежать в направлении города.

В половине десятого утра, прождав Эдди О’Хару целый час, Тед Коул выбрался из бирючины на Джин-лейн и осторожно пошел мимо подъездной дорожки, ведущей к дому Вонов, чтобы Эдди наверняка увидел его, если Эдди (по какой-то причине) ждет Теда на западном окончании Джин-лейн, пересекавшем Южную Мейн-стрит.

По мнению садовника, этот шаг был даже не неосторожным, а безрассудным. С башни третьего этажа в своем особняке миссис Вон могла обозревать территорию за живой изгородью из бирючины. Если обиженная женщина находилась в башне, то оттуда ей открывался прекрасный вид на всю Джин-лейн.

Миссис Вон и в самом деле, судя по всему, открывался такой вид, потому что не прошло и нескольких секунд, как Тед миновал ее проезд и, ускоряя шаг, направился по Джин-лейн, – садовник с тревогой услышал рев машины миссис Вон. Это был сверкающий черный «линкольн», который вылетел из гаража с такой скоростью, что его занесло на камнях двора и он чуть не врезался в фонтан с его темной водой. В последнюю секунду миссис Вон удалось уйти от столкновения с фонтаном, но, пройдя слишком близко к бирючине, «линкольн» зацепил лестницу, оставив обескураженного садовника на вершине высокой живой изгороди, откуда он прокричал Теду: «Беги!»

Тем, что Тед дожил до следующего дня, он полностью обязан регулярным и интенсивным упражнениям, совершаемым им на корте для сквоша, спроектированном так, чтобы иметь несправедливое преимущество. Даже в сорок пять Тед Коул был способен бегать. Он, не снижая скорости, продрался через несколько кустов шиповника и рванул по лужку мимо выпучившего глаза, хотя и не произнесшего ни звука человека, чистящего бассейн. На Теда набросилась собака – к счастью, небольшая и трусоватая. Сорвав женский купальник с веревки для сушки и хлестнув им собаку по морде, Тед отогнал пугливое животное. Естественно, на Теда напали с криками несколько садовников, горничных и домохозяек; никем не остановленный, он перескочил через три забора и одолел одну довольно высокую каменную стену. Он помял всего две цветочные клумбы. И он не видел, как «линкольн» миссис Вон срезал угол Джин-лейн в сторону Южной Мейн-стрит, как в неистовстве миссис Вон сбила дорожный знак; однако через щели в заборе на Тойлсам-лейн Тед увидел черный, как катафалк, «линкольн», который пронесся параллельно движению Теда, пересекшего два лужка, дворик с фруктовыми деревьями и нечто похожее на японский сад, где он попал в неглубокий прудик с золотыми рыбками, намочил туфли и джинсы (до колен).

Тед бросился назад на Тойлсам. Он отважился пересечь эту улицу, но, увидев загоревшиеся стоп-сигналы «линкольна», в ужасе решил, что миссис Вон заметила его в зеркало зад-

него вида и теперь останавливается, чтобы развернуться и тоже вернуться на Тойлсам. Но она его не увидела, и ему удалось оторваться от погони. Тед появился в центре Саутгемптона, имея весьма непрезентабельный вид, но смело шагая в самое сердце торговой части Южной Мейн-стрит. Если бы он не озирался – не вынырнет ли откуда-нибудь черный «линкольн», то, наверно, увидел бы собственный «шеви» 57-го года, припаркованный у магазина, торгующего рамками на Южной Мейн. Но Тед прошествовал мимо собственной машины, не узнав ее, и вошел в книжный магазин, расположенный чуть поодаль, на другой стороне улицы.

В книжном магазине его знали. Теда Коула, конечно же, знали во всех книжных магазинах, но Тед регулярно заглядывал именно в этот, где оставлял автографы на всех имевшихся экземплярах его книг. Хозяин магазина и его персонал ни разу не видели мистера Коула в таком жутком виде, в каком он предстал перед ними в это пятничное утро, хотя они и знали, что он бывает небрит и чаще одевается на манер студента или работяги, чем так, как это полагается автору и иллюстратору детских бестселлеров.

Новым во внешности Теда была главным образом кровь. Его расцарапанное и кровоточащее лицо, кровь пополам с грязью на тыльной стороне ладоней, оставленные вековыми зарослями живой изгороди, – все это для удивленного хозяина (носившего – необъяснимо – фамилию Мендельсон) было свидетельством несчастного случая или бойни. Хозяин не состоял в родстве с немецким композитором и настолько любил свою фамилию или не любил имя, что никому не сообщал последнего. (Как-то раз, когда Тед спросил его об имени, Мендельсон ответил только: «Не Феликс».)

В эту пятницу то ли вид крови привел его в волнение, то ли вода, стекавшая с джинсов Теда на пол, – туфли Теда с каждым его шагом разбрызгивали эту воду во все стороны, – но Мендельсон ухватил Теда за грязные полы его не заправленной в джинсы и расстегнутой рубашки и в голос закричал:

– Тед Коул!

– Да, я – Тед Коул, – признал Тед. – Доброе утро, Мендельсон.

– Это Тед Коул – это он, это он! – повторил Мендельсон.

– Извините, у меня кровь, – спокойно сказал ему Тед.

– Да глупости – тут нечего извиняться! – прокричал Мендельсон.

Потом он повернулся к ошарашенной молодой женщине из его персонала – она стояла рядом, и на ее лице застыло выражение почтительного ужаса. Мендельсон распорядился, чтобы она принесла мистеру Коулу стул.

– Вы что – не видите: у него кровь, – сказал ей Мендельсон.

Но Тед спросил, нельзя ли ему сначала воспользоваться умывальником – с ним произошел несчастный случай, мрачно сообщил он. После этого он заперся в туалете с раковиной. Он оценил, глядя в зеркало, полученные повреждения, одновременно сочиняя (так, как это может делать только писатель) историю поразительной простоты о случившемся с ним «происшествии». Он увидел, что ветка колючего кустарника хлестнула его по глазу, который теперь слезился. Из более глубокой царапины на лбу сочилась кровь, на щеке виднелась царапина менее кровоточивая, но обещавшая долго не заживать. Он вымыл руки – царапины саднили, но кровоточить практически перестали. Он снял фланелевую рубашку и повязал ее грязные рукава (одной рукой он вляпался в прудик с рыбками) вокруг пояса.

Тед воспользовался этим моментом, чтобы восхититься своей талией – в сорок пять он все еще мог носить джинсы с футболкой и гордиться производимым впечатлением. Но футболка на нем была белая, и вид ее отнюдь не улучшился от ярких травяных пятен на левом плече и правой стороне груди – Тед падал по меньшей мере на двух газонах, – а с мокрых до колен джинсов в его наполненные водой туфли продолжала капать влага.

Собравшись с духом (насколько это было в его силах в данных обстоятельствах), Тед вышел из туалета, и его снова встретил экспансивный безымянный Мендельсон, который уже

приготовил стул для неожиданного автора. Стул был пододвинут к столу, на котором в ожидании автографов лежало несколько дюжин книг Теда.

Но Теду сначала нужно было сделать звонок – даже два. Он позвонил в собачью будку – нет ли там Эдди, но безуспешно. И конечно, безответным остался звонок в собственный дом Теда – Марион не собиралась снимать трубку в это расписанное по минутам пятничное утро. Может быть, Эдди разбил машину? Мальчишка сегодня утром как-то неуверенно сидел за рулем. Это Марион виновата: затрахала парня так, что у него все мозги вышибло, пришел к выводу Коул.

Независимо от того, насколько хорошо отрепетировала Марион эту пятницу, она ошиблась, предполагая, что единственная существующая для Теда возможность добраться до дому – это пешком дойти до кабинета его напарника по сквошу и ждать, когда доктор Леонардис или один из его пациентов отвезет его в Сагапонак. Кабинет Дейва Леонардиса находился в противоположной части Саутгемптона на Монтаук-хайвей, тогда как книжный магазин располагался не только ближе к особняку миссис Вон – здесь Тед гораздо скорее мог рассчитывать на помощь. Тед Коул мог войти практически в любой книжный магазин в мире и попросить, чтобы его подвезли до дома.

Что он и сделал, едва усевшись за стол, чтобы оставить автографы на своих книгах.

– Чтобы не ходить вокруг да около – мне нужно, чтобы меня подвезли до дома, – сказал знаменитый автор.

– Подвезти? – воскликнул Мендельсон. – Какие вопросы! Нет проблем! Ведь вы живете в Сагапонаке? Я сам вас туда отвезу! Правда... сначала нужно позвонить жене. Может, она поехала по магазинам. Но это в любом случае ненадолго. Дело в том, что моя машина в ремонте.

– Надеюсь, не у того же механика, что и моя, – сказал этому энтузиасту Тед. – Свою я только что получил – так они забыли закрепить вал рулевого колеса. Все получилось как в известном мультике – рулевое колесо в моих руках, только оно никак не было связано с колесами. Я рулил в одну сторону, а машина съехала на обочину в другую. К счастью, я врезался только в бирючину – такие густые заросли. Потом я выбирался из окна и поцарапался о кусты. А потом попал в пруд с золотыми рыбками, – объяснил Тед.

Теперь он завладел их вниманием; Мендельсон замер у телефона, так пока и не позвонив жене. А прежде ошеломленная молодая женщина, работница магазина, улыбалась. Теда обычно не очень привлекал такой тип, но если бы она предложила ему подвезти его домой, то из этого могло бы что-нибудь и получиться.

Она, видимо, не так давно закончила колледж и своим стилем – простоволосая, без косметики, без загара – предвещала грядущее десятилетие¹⁰. Она не была хорошенькой – напротив, она выглядела довольно непритязательно, но в ее бледности Теду чудилась некая сексуальная откровенность: он почувствовал, что безыскусная наружность этой женщины – отражение ее открытости опытам, которые могут показаться ей «творческими». Она принадлежала к тому типу молодых женщин, которые соблазнялись интеллектуально. (Крайне непрезентабельный вид Теда в этот момент, вполне возможно, поднял его в ее глазах.) Женщина была слишком молода, и сексуальные приключения вряд ли успели ей приесться и наверняка входили в число вещей, из которых для нее состояла настоящая жизнь, в особенности если речь шла о знаменитом писателе.

К сожалению, машины у нее не было.

– Я езжу на велосипеде, – сказала она Теду, – иначе непременно отвезла бы вас домой.

Жаль, подумал Тед, но тут же утешил себя тем, что ему не нравится несоответствие между ее тонкой нижней губой и преувеличенно пухлой верхней.

¹⁰ Имеется в виду эпоха хиппи.

Мендельсон волновался, что его жена все еще не вернулась из магазина. Он непрерывно названивал ей – она должна была вот-вот вернуться, заверял Мендельсон Теда. Парнишка-продавец, страшный заика (единственный, кроме него, работник магазина в то пятничное утро), извинился за то, что как раз сегодня одолжил свою машину приятелю, который надумал поехать на пляж.

Тед сидел за столом, медленно подписывая книги. Было всего десять часов. Если бы Марион знала, где находится Тед и насколько велика вероятность того, что его подвезут домой, то, вполне вероятно, она запаниковала бы. Знай Эдди О'Хара, что Тед подписывает книги на другой стороне улицы, напротив магазина рамок (где Эдди требовал возвращения ему готовой фотографии с ножками, чтобы Рут могла забрать ее домой), то мог бы запаниковать и Эдди.

Причин паниковать не было только у Теда. Он не знал, что жена бросает его, – он все еще думал, что это он бросает ее. И он был в безопасности – не на улице, то есть прямая угроза (имелось в виду – от миссис Вон) здесь отсутствовала. И даже если жена Мендельсона никогда не вернется из похода по магазинам, в течение ближайших нескольких минут в книжный магазин зайдет хоть кто-нибудь из преданных читателей Теда Коула. Таким читателем может оказаться женщина, и тогда Теду придется приобрести для нее одну из им же самим подписанных книг, но она подвезет его домой. А если она еще к тому же окажется хорошенькой... и так далее, и тому подобное, то кто знает, чем бы это все могло завершиться?

«Какие могут быть поводы для паники в десять утра?» – думал Тед.

Он и представить себе не мог какие.

Как секретарь писателя стал писателем

А тем временем в соседнем магазине, торгующем рамками, Эдди О'Хара начал обретать голос. Поначалу Эдди не осознавал этой мощной перемены, произошедшей в нем, – он думал, что просто злится. А основания для того, чтобы злиться, были. Продавщица, обслуживавшая Эдди, вела себя с ним по-хамски. Она была не старше его, но быстренько сообразила, что шестнадцатилетний парень и четырехлетняя девочка, спрашивающие о матировке и рамке для единственной фотографии восемь на десять, стоят не очень высоко в списке богатеньких саутгемптонских любителей искусств, которых охотно обслуживает магазин.

Эдди попросил, чтобы позвали хозяина, но продавщица продолжала вести себя с ним по-хамски – она повторила, что фотография не готова.

– Я бы вам посоветовала: когда надумаете заглянуть в следующий раз, позвоните сначала.

– Хотите увидеть мои ниточки? – спросила у продавщицы Рут. – У меня и корочка есть.

У продавщицы – практически девчонки – своих детей явно не было; она подчеркнуто не замечала Рут, а это разозлило Эдди еще больше.

– Покажи ей свой шрам, – сказал Эдди четырехлетней девочке.

– Послушайте... – начала было продавщица.

– Нет, это вы послушайте, – сказал Эдди, все еще не понимая, что обретает собственный голос. Он еще ни с кем так не разговаривал, а теперь вдруг не мог остановиться. Его новообретенный голос не умолкал. – Я могу попытаться поговорить с человеком, который ведет себя по-хамски со мной, но я не собираюсь иметь дело с тем, кто ведет себя по хамски с ребенком, – услышал Эдди свой голос. – Если здесь нет хозяина, то кто-то еще тут должен быть, например тот, кто работает. Я хочу сказать, есть здесь какое-то помещение, где делают матировку и вставляют фотографии в рамки? Здесь должен быть кто-то еще кроме вас. Я не уйду без этой фотографии и говорить буду не с вами.

Рут посмотрела на Эдди.

– Ты на нее разозлился? – спросила его четырехлетняя девочка.

– Да, разозлился, – ответил Эдди.

Он не знал точно, кто он такой, но продавщица никогда бы не догадалась, что Эдди О'Хара – молодой человек, которого часто мучают сомнения. Для нее он был сама уверенность – он нагнал на нее страху.

Она, не сказав больше ни слова, удалилась в то самое «помещение», о котором с такой убежденностью говорил Эдди. На самом деле при магазине было два помещения – кабинет хозяйки и то, что Тед называл бы мастерской. И хозяйка, саутгемптонская светская львица и разведенная дама по имени Пенни Пиарс, и парнишка, нарезавший матировки и весь день изготавливавший рамки (рамки и рамки), были на месте.

Неприятная продавщица передала свое впечатление от Эдди, который был «просто жутким», хотя, глядя на него, ничего такого о нем нельзя было подумать. Если Пенни Пиарс знала, кто такой Тед Коул (и она хорошо помнила Марион, потому что Марион была красавицей), то она понятия не имела, кто такой Эдди О'Хара. Девочка, решила она, это несчастный ребенок Теда и Марион, которого они родили, чтобы как-то восполнить пустоту, образовавшуюся после гибели их мальчиков. Миссис Пиарс живо помнила их сыновей. Кто же может забыть постоянных заказчиков рамок? У них были сотни фотографий, которым требовались матировка и рамки, а Марион на этом не экономила. Пенни Пиарс помнила, что речь шла о тысячах долларов, и, конечно, магазин был обязан быстро сделать новую матировку и изготовить новую рамку для старой фотографии. Наверно, нам следовало бы сделать это бесплатно, подумала миссис Пиарс.

Но что это о себе думает этот мальчишка? Кто он такой, чтобы заявлять, что не уйдет без фотографии?

– Он просто жуткий, – повторила дурочка продавщица.

Бывший муж Пенни Пиарс, адвокат, научил ее одной полезной вещи: не позволяя рассерженному человеку говорить – пусть изложит свои претензии в письменном виде. Она следовала этому принципу, ведя собственный бизнес, который завел для нее бывший муж в качестве отступного.

Прежде чем выйти к Эдди, миссис Пиарс распорядилась, чтобы мальчик в мастерской бросил текущую работу и немедленно сделал матировку и новую рамку для фотографии Марион в отеле «Дю Ки-Вольтер». Пенни Пиарс не видела этой фотографии – сколько времени прошло? – лет пять. Миссис Пиарс помнила, как Марион принесла все пленки; на некоторых негативах были царапины. Когда мальчики были живы, фотографии их делались небрежно, хранились кое-как. А когда мальчики погибли, Марион решила, что почти каждый их снимок стоит того, чтобы его увеличили и взяли в рамку, поцарапанный он или нет, – к такому выводу пришла Пенни Пиарс.

Зная историю того несчастного случая, миссис Пиарс не могла удержаться – она внимательно рассмотрела все фотографии.

– А, так вот о чем речь, – сказала, увидев фотографию Марион в кровати и голые ножки мальчиков.

В этой фотографии больше всего поражало выражение нескрываемого счастья на лице Марион, а еще ее необыкновенная красота. Сегодня красота Марион осталась при ней, а вот счастье покинуло ее. Это обстоятельство жизни Марион поражало всех без исключения женщин. Поскольку миссис Пиарс не была полностью чужда ни красоте, ни счастью, она чувствовала, что никогда не обладала ни тем ни другим в той степени, как Марион.

Прежде чем отправиться к Эдди, миссис Пиарс взяла со своего стола десяток чистых листов бумаги.

– Я понимаю, что вы недовольны, и очень сожалею об этом, – любезно сказала она красивому шестнадцатилетнему мальчишке, который, как ей показалось, просто не способен никого напугать («Нужно мне подыскать продавщицу получше», – думала Пенни Пиарс, глядя на Эдди и недооценивая его. Чем пристальнее она на него смотрела, тем больше ей казалось, что он слишком хорошенький, чтобы его можно было назвать красивым). – Когда мои клиенты сердятся, я прошу их изложить их претензии в письменной форме, если вы не возражаете, – опять любезно добавила миссис Пиарс.

Шестнадцатилетний мальчишка увидел, что хозяйка протягивает ему бумагу и ручку.

– Я работаю у мистера Коула. Я секретарь писателя, – сказал Эдди.

– Тогда вы не будете возражать против того, чтобы изложить ваши претензии письменно, да? – сказала Пенни Пиарс.

Эдди взял ручку. Хозяйка одобрительно улыbnулась ему – она не сияла красотой и не светилась от счастья, но тем не менее не была лишена привлекательности и излучала доброжелательность. Нет, понял Эдди, он не будет возражать против того, чтобы изложить это письменно. Именно такое предложение и было необходимо Эдди, именно этого требовал его голос, до того заточенный внутри его. Он хотел писать. В конечном счете именно поэтому он и искал такую работу. Но вместо писательства он получил Марион. Теперь, теряя ее, он находил то, чего хотел до начала этого лета.

А что касается Теда, то Тед его ничему не научил. Если Эдди О'Хара что-то и почерпнул у Теда Коула, то лишь читая его. Всего несколько предложений – вот какой урок один писатель может преподать другому. Из «Мыши за стеной» Эдди научился чему-то, состоящему всего из двух предложений. Первое из них было: «Том проснулся, а Тим – нет». А потом там было

еще такое предложение: «Это был такой звук, как если бы в стенном шкафу ожило одно из маминых платьев и попыталось слезть с вешалки».

Если Рут Коул из-за этого предложения всю свою жизнь с опаской относилась к платьям и стенным шкафам, то Эдди О'Хара слышал звук платья, сползающего с той вешалки, так ясно, как любой другой звук, когда-нибудь им слышанный, в своих снах он видел движения этого скользкого платья в полутьме стенного шкафа.

А в «Двери в полу» было еще одно неплохое первое предложение: «Жил да был один маленький мальчик, который не знал, хочет ли он родиться». После лета 58-го Эдди О'Хара наконец-то понял, *что* чувствовал маленький мальчик. Там было еще и другое предложение: «Его мама тоже не знала, хочет ли она, чтобы он родился». Только встретив Марион, Эдди понял, что чувствовала эта мама.

В ту пятницу в магазине рамок в Саутгемптоне произошло судьбоносное событие – Эдди осенило: если секретарь писателя стал писателем, то голос ему дала Марион. Если, лежа в ее объятиях (в кровати Марион, внутри ее), он впервые в жизни почувствовал себя почти что мужчиной, то, лишь потеряв ее, он понял: у него есть что *сказать*. Право писать Эдди О'Хара обрел, когда понял, что жизнь ему предстоит прожить *без* Марион.

«Вы можете представить себе Марион Коул? – писал Эдди. – Я хочу сказать, можете ли вы увидеть ее мысленным взором, представить, как она выглядит?»

Эдди показал два своих первых предложения Пенни Пиарс.

– Да, конечно... она очень красива, – сказала хозяйка.

Эдди кивнул и принялся писать дальше:

«Так вот, хотя я – секретарь мистера Коула, но этим летом я спал с миссис Коул. По моим расчетам, мы с Марион занимались любовью не меньше шестидесяти раз».

– *Шестидесяти?* – невольно вырвалось у хозяйки.

Она вышла из-за прилавка, чтобы через плечо Эдди читать, что он пишет.

Эдди написал:

«Мы занимались этим шесть, почти семь недель, обычно по два раза в день, а нередко и по три. Но как-то раз у нее случилась инфекция, и мы не могли делать это. А если еще учесть и месячные...»

– Понятно... значит, около шестидесяти раз, – сказала Пенни Пиарс. – Продолжайте.

«Так вот, – написал Эдди, – мы с Марион были любовниками, а у мистера Коула – его зовут Тед – была любовница. Вообще-то она была его натурщицей. Вы знаете миссис Вон?»

– Это те Воны, что с Джин-лейн? У них есть большая... коллекция, – сказала хозяйка магазина рамок. (Вот было бы здорово от них получить заказ на рамки!)

«Да, та самая миссис Вон, – написал Эдди. – У нее есть сын, маленький мальчик».

– Да-да, я знаю! – сказала миссис Пиарс. – Продолжайте, пожалуйста.

«Так вот, – продолжал писать Эдди, – сегодня утром Тед – то есть мистер Коул – порвал отношения с миссис Вон. Не могу себе представить, чтобы у этого романа было благополучное завершение. Миссис Вон, казалось, была сильно расстроена. А Марион тем временем собирает вещи – она уезжает. Теду об этом неизвестно, но она уезжает. А Рут – вот она, Рут, ей четыре года».

– Да-да, – вставила Пенни Пиарс.

«Рут тоже неизвестно, что ее мать уезжает, – продолжал писать Эдди. – И Рут и ее отец вернутся в свой дом в Сагапонаке и поймут, что Марион уехала. А с ней и все фотографии – те самые, для которых вы делали рамки, кроме той, что осталась здесь, в вашем магазине».

– Да-да... боже мой, что? – сказала Пенни Пиарс.

Рут хмуро смотрела на нее. Миссис Пиарс постаралась улыбнуться девочке.

Эдди писал дальше:

«Марион забирает эти фотографии с собой. Когда Рут вернется домой, там уже не будет ни ее матери, ни фотографий. Исчезнут и ее мертвые братья, и ее мать. А ведь за каждой из этих фотографий стоит своя история, их сотни, этих историй, и Рут каждую из них знает наизусть».

– Что вы хотите от меня? – воскликнула миссис Пиарс.

– Только фотографию матери Рут, – сказал вслух Эдди. – Она лежит в кровати в номере парижского отеля...

– Да, я знаю эту фотографию – конечно, вы ее получите! – сказала Пенни Пиарс.

– Тогда все в порядке, – сказал Эдди и написал: «Я просто подумал, что девочке, наверно, будет необходимо хоть что-нибудь рядом с ее кроваткой этой ночью. Там не останется ни одной фотографии, а она к ним так привыкла. Я подумал, что если будет хотя бы одна, а особенно ее матери...»

– Но это трудно назвать фотографией мальчиков – там видны только их ноги, – прервала Эдди миссис Пиарс.

– Да, я знаю, – сказал Эдди. – Эти ноги особенно нравятся Рут.

– Готовы ножки? – спросила четырехлетняя девочка.

– Да, детка, готовы, – заботливо сказала миссис Пиарс девочке.

– Хотите посмотреть мои ниточки? – спросила девочка. – И... мою корочку?

– Конверт в машине, Рут, – он в бардачке, – объяснил Эдди.

– Да? – сказала Рут. – А что такое бардачок?

– Пойду проверю, готова ли фотография, – сказала миссис Пиарс. – Я уверена – она почти готова.

Нервным движением она собрала исписанные листы с прилавка, хотя ручку Эдди еще продолжал сжимать пальцами. Но уйти она не успела – Эдди схватил ее за руку.

– Извините, – сказал он, протягивая ей ручку. – Это ваше. Но верните мне мою писанину.

– Да, конечно! – ответила хозяйка. Она протянула ему все листы – даже чистые.

– Что ты сделал? – спросила Рут у Эдди.

– Я рассказал этой леди одну историю, – сказал девочке шестнадцатилетний парень.

– Расскажи эту историю мне, – сказала Рут.

– Я расскажу тебе другую историю – в машине, – пообещал Эдди. – Только сначала получим фотографию твоей мамы.

– И ножек! – потребовала девочка.

– И ножек, – пообещал Эдди.

– А какую историю ты мне расскажешь? – спросила его Рут.

– Не знаю, – признался парнишка.

Придется ему придумать какую-нибудь историю. Удивительно, но его это ничуть не беспокоило – какая-нибудь история непременно придет в голову, в этом он не сомневался. Не беспокоило его теперь и то, что он скажет Теду. Он скажет Теду все, что сказала ему Марион, и все то, что придет ему в голову. «Я это смогу», – уверовал он в себя. У него было такое право.

Знала о том, что у него есть такое право, и Пенни Пиарс. Когда хозяйка появилась из подсобного помещения магазина, у нее было нечто большее, чем обновленная фотография в новой рамке. Хотя на миссис Пиарс осталась та же одежда, что-то в ней неожиданно изменилось: она появилась в некой новой своей ипостаси, и дело тут было не только в свежем запахе (новые духи) – изменилось ее настроение, и она выглядела чуть ли не соблазнительно. На взгляд Эдди, она смотрелась всего лишь сносно – но до сих пор он даже не обратил на нее внимания как на женщину.

Ее волосы, прежде взбитые, теперь лежали ровно. Произошли некоторые изменения и в ее косметике. Эдди без труда заметил, что сделала с собой миссис Пиарс. Глаза темнее и четче обведены, потемнела и ее помада. Лицо если и не стало юным, но все же посвежело.

Она расстегнула жакет, подтянула рукава, расстегнула две верхние пуговицы блузы. (Прежде расстегнута была только одна верхняя.)

Когда миссис нагнулась, чтобы показать фотографию Рут, Эдди открылся в вырезе вид, о котором он и не подозревал. Выпрямившись, она прошептала Эдди:

– И конечно, никакой платы за фотографию.

Эдди кивнул и улыбнулся, но Пенни Пиарс с ним еще не закончила. Она показала ему лист бумаги, на котором был написан вопрос ему – в письменном виде, конечно, потому что вопрос такого рода миссис Пиарс никогда бы не задала вслух в присутствии ребенка.

«Марион Коул оставляет и вас?» – написала Пенни Пиарс.

– Да, – сказал ей Эдди.

Миссис Пиарс утешительно пожала его запястье.

– Я вам сочувствую, – прошептала она.

Эдди не знал, что ей ответить.

– И кровь вся сошла? – спросила Рут.

Для четырехлетней девочки это было как чудо – фотография стала точно такой, как прежде, тогда как у нее, Рут, после того случая остался шрам.

– Да, детка, – она совсем как новенькая! – сказала девочке миссис Пиарс. – Молодой человек, – добавила хозяйка, когда Эдди взял Рут за руку, – если вам когда-нибудь понадобится работа...

Поскольку у Эдди в одной руке была фотография, а другой он держал пальцы Рут, ему нечем было взять визитку, которую протягивала ему Пенни Пиарс. Движением, которое напонило Эдди Марион, засунувшую ему десятку в правый задний карман, миссис Пиарс ловко сунула ему визитку в левый передний карман джинсов.

– Может быть, на следующее лето или через лето... летом мне всегда нужны помощники, – сказала хозяйка.

И опять Эдди не знал, что ей ответить; он еще раз кивнул и улыбнулся. Магазин рамок был шикарным заведением. Помещение для посетителей было оформлено со вкусом, здесь повсюду были выставлены образцы рамок. Среди плакатов – всегда пользующихся большим спросом летом – были кадры из фильмов тридцатых годов: Грета Гарбо в роли Анны Карениной, Маргарет Салливан в роли женщины, которая умирает и становится призраком в конце «Трех товарищей». Хорошо продавались и плакаты с рекламой алкоголя: тут можно было увидеть рокового вида женщину, потягивающую кампари с содовой, а мужчина, не уступающий красотой Теду Коулу, пил мартини – правильное количество вермута правильного сорта, разбавленное соком или содовой.

«Чинзано», – чуть не сказал вслух Эдди, он пытался представить себе, что это такое – работать здесь. Ему потребовалось почти полтора года, чтобы понять, что Пенни Пиарс предлагает ему не только работу. Это его новообретенное «право» было настолько в новинку для Эдди О'Хары, что он еще не успел оценить степень своей власти.

Почти библейская мудрость

А тем временем в книжном магазине Тед Коул, подписывая за столиком книги, достигал высот каллиграфии. Почерк у него был идеальный, и его неторопливая, кажущаяся резной подпись выглядела великолепно. Хотя Тед писал такие короткие книги (и писал так мало), автограф его был плодом истинной любви. («Плодом самолюбования», – так когда-то в разговоре с Эдди сказала Марион о подписи Теда.) Для продавцов книг, которые нередко жаловались, что автографы авторов – просто жуткие каракули, такие же нечитаемые, как врачебные рецепты, Тед Коул был королем автографов. В его подписи не было никакой спешки, даже когда он расписывался на чеках. А скорописный его росчерк больше напоминал курсивный шрифт.

Теду не нравились ручки, и Мендельсон прыгал по магазину в поисках идеальной ручки – непременно авторучки, но чтобы у перышка был правильный кончик. А чернила непременно должны были быть либо черными, либо красноватыми, но строго определенного оттенка. («Чтобы больше было похоже на кровь, чем на пожарную машину», – объяснил Тед хозяину.) Что касается синего, то любой оттенок этого цвета вызывал у Теда отвращение.

Так вот Эдди О’Хара и повезло – когда Эдди, взяв Рут за руку, шел с нею в «шеви», Тед никуда не спешил. Он знал, что любой охотник за автографами, приблизившийся к нему, – потенциальный извозчик, но Тед был разборчив – он не хотел становиться чьим угодно пассажиром.

Например, Мендельсон представил его женщине, которая жила в Уэйнскотте. Миссис Хикенлупер сказала, что будет рада посадить Теда у его дома в Сагапонаке. Это ей почти по пути. Правда, ей еще нужно было зайти в магазин в Саутгемптоне, но не больше чем через час она освободится, а потом будет вовсе не против снова заглянуть в книжный. Но Тед сказал, чтобы она не беспокоилась, он сказал, что за час наверняка подвернется какая-нибудь другая попутная машина.

– Но мне это правда совсем не трудно, – сказала миссис Хикенлупер.

«Это трудно мне!» – мысленно ответил ей Тед.

Он дружелюбным жестом отмахнулся от женщины, и она ушла с подписанным экземпляром «Мыши за стеной», который Тед не без муки душевной посвятил пятерым детишкам миссис Хикенлупер.

«Она должна была бы купить пять экземпляров», – подумал Тед, но прилежно поставил свой автограф на одном, вписав имена потомков Хикенлуперов на одной-единственной тесной странице.

– Мои дети уже выросли, – сказала миссис Хикенлупер Теду, – но когда они были маленькими, они вас очень любили.

Тед на это только улыбнулся. Миссис Хикенлупер было под пятьдесят, а бедра ее напоминали бедра мула. В ней чувствовалась какая-то фермерская основательность. Она была (или казалась) садоводом-огородником, щеголяла широкой хлопчатобумажной юбкой, а колени у нее были красные, со въевшейся в них грязью. «Чтобы грядку выполоть, нужно на колени встать». Тед слышал, как она сказала это другому посетителю магазина, который явно был таким же огородником – они сравнивали книги по интересующему их предмету.

Со стороны Теда было невеликодушно относиться к садоводам-огородникам свысока. В конечном счете он ведь был обязан жизнью садовнику миссис Вон, потому что без предупредительного крика этого отважного человека Теду, возможно, не удалось бы спастись от черного «линкольна». И тем не менее миссис Хикенлупер была вовсе не тем попутчиком, в чьей машине Тед хотел бы добраться до дома.

Потом подвернулся более подходящий кандидат. Нерешительная молодая женщина (по крайней мере, она уже достигла возраста, в котором выдаются водительские права) остано-

лась, не дойдя до столика, за которым Тед подписывал свои книги; она смотрела на знаменитого автора и иллюстратора с характерным сочетанием робости и шаловливости – Тед часто встречал его у юных девушек, которым вскоре предстояло стать более женственными. Через несколько лет на смену неуверенности придет практичность, даже расчетливость. А нынешнюю свою игривость и дерзость эта девушка скоро научится держать в узде. Сейчас ей было не меньше семнадцати, но и не больше двадцати, и шаловливость в ней сочеталась с неловкостью, а робость с желанием испытать себя. Она была чуточку нескладной, но смелой.

«Наверно, еще девственница», – думал Тед; по крайней мере, она была очень неопытна, в этом он не сомневался.

– Привет, – сказал он.

Хорошенькая девушка, почти женщина, была так испугана этим неожиданным проявлением внимания со стороны Теда, что тут же онемела и еще заметно зарделась, так что кожа ее обрела оттенок, средний между цветом крови и пожарной машины. Ее подружка – на вид гораздо попроще, обманчиво-глуповатая – разразилась фырканием и хихиканьем. Только теперь Тед заметил, что хорошенькую девушку сопровождает уродина подружка. Но разве любую молодую привлекательную женщину, которая может быть хорошей сексуальной добычей, не сопровождает глупая, отталкивающая подружка, чтобы только оттенять превосходство первой?

Впрочем, эта подружка-спутница ничуть не напугала Теда. В ней он видел как минимум интригующий вызов; если уж ее присутствие означало, что ему сегодня придется спать одному, потенциальное соблазнение хорошенькой молодой женщины от этого становилось ничуть не менее заманчивым. Как говорила Эдди Марион, Теда больше возбуждал не столько сам секс, сколько его предвкушение; казалось, что ему нравится не делать это, а ждать этого.

– Привет, – сумела наконец ответить ему молодая девушка.

Ее грушевидная подружка не смогла удержаться. К смущению хорошенькой девушки, уродина сказала:

– Она в первом семестре писала о вас курсовую!

– Замолчи, Эффи! – сказала хорошенькая девушка.

«Значит, она учится в колледже», – заключил Тед Коул; он подумал, что девушка, вероятно, в восторге от «Двери в полу».

– И как называлась ваша курсовая? – спросил Тед.

– «Анализ атавистических символов страха в „Двери в полу“», – сказала хорошенькая девушка, совершенно окоченев от ужаса. – Ну типа как мальчик, который не уверен, что хочет родиться, или мать, которая не уверена, что хочет его рожать. Это все племенные вещи. У примитивных племен есть такие страхи. И мифы и сказки примитивных племен полны таких образов, как волшебные двери, исчезающие дети, взрослые, которые пугаются так, что сидят за одну ночь. И в мифах и сказках есть много животных, которые могут неожиданно менять свои размеры, как змеи, – змеи – это тоже очень племенные сущности, конечно же...

– Конечно же, – согласился Тед. – И большая это была работа?

– Двенадцать страниц, – сообщила ему хорошенькая женщина, – не считая примечаний и библиографии.

Не считая иллюстраций – только рукопись, напечатанная с двойным пробелом, – «Дверь в полу» имела объем всего полторы страницы; тем не менее ее напечатали так, будто это была целая книга, и студентам позволяли писать по ней курсовые работы. «Ну и смех!» – думал Тед.

Ему нравились губы девушки – рот у нее был округлый и маленький. И груди у нее были полненькие – чуть ли не пышные. Пройдет несколько лет, и ей придется бороться с лишним весом, но сегодня ее пухленькие формы были привлекательны, и у нее все еще оставалась талия. Теду нравилось оценивать женщин по типу фигуры; Тед считал, что по фигурам большинства может предсказать, как они будут выглядеть в будущем. Эта, например, родит одного

ребенка и потеряет талию; еще ей грозила опасность нарастить могучие бедра, но пока что ее склонность к полноте только намечалась.

«К тридцати годам она станет как ее подруга – похожей на грушу», – подумал Тед, вслух же сказал:

– Как вас зовут?

– Глори, – ответила хорошенькая. – А это Эффи.

«Вот подожди, я тебе покажу кое-что атавистическое, Глори, – думал Тед. – Разве в примитивных племенах сорокалетние мужи не совокуплялись с восемнадцатилетними девушками? Я тебе покажу кое-что племенное».

Вслух он сказал:

– Машины, девушки, у вас, видимо, нет. Хотите верьте, хотите нет, но мне не на чем добраться до дома.

Хотите верьте, хотите нет, но миссис Вон, потеряв Теда, непонятно почему направила свой немалый гнев на отважного, но беззащитного садовника. Она припарковала «линкольн» (передком к выезду и не глуша двигатель) в начале подъезда, так что черный нос удлиненного капота и сверкающая серебром решетка радиатора высывались на Джин-лейн. Замерев у рулевого колеса, где она провела около получаса (пока в «линкольне» не кончился бензин), миссис Вон ждала появления черно-белого «шеви» 57-го года, полагая, что тот свернет на Джин-лейн либо с Вайанданч-лейн, либо с Южной Мейн-стрит. Она думала, что Тед должен быть где-то поблизости, поскольку заодно с Тедом полагала, что любовник Марион – этот «хорошенький мальчик», как думала о нем миссис Вон, – по-прежнему водит машину Теда. Поэтому миссис Вон нашла по приемнику какую-то музыку и ждала.

В черном «линкольне» гремела музыка, и из-за оглушающей громкости и вывернутых до предела басов, от которых вибрировали динамики, миссис почти не заметила, что бензин в «линкольне» кончился. Если бы машина в этот момент не задрожала всем корпусом, то миссис Вон, возможно, так и ждала бы у рулевого колеса, пока ее сына не привезут домой с дневного теннисного урока.

Еще важнее было то, что кончившийся в «линкольне» бензин, возможно, спас садовника миссис Вон от жестокой смерти. Бедняга, из-под которого была вышиблена лестница, все это время висел на кусте безжалостной бирючины, где ядовитый газ выхлопа поначалу вызвал у него тошноту, а потом чуть не убил. Он полуспал, но осознавал, что наполовину мертв, когда двигатель заглох и свежий ветерок вернул его к жизни.

В ходе его предыдущих попыток слезть с вершины живой изгороди правая его нога намертво застряла в сплетшихся ветках бирючины. Пытаясь освободить ногу из зарослей, садовник потерял равновесие и свалился головой вниз в самую гущу куста, отчего его нога в цепкой бирючине застряла еще крепче. Он больно вывернул коленку во время падения и – повиснув на ноге, крепко удерживаемой ветками, – растянул брюшную мышцу, пытаясь расшнуровать ботинок.

Небольшой человечек испанского происхождения с соответственно небольшим животиком, Эдуардо Гомес, не был привычен к выполнению гимнастического седа из положения головой вниз в зарослях живой изгороди. Ботинки у него были высокие – выше щиколотки, и хотя он изо всех старался как можно дольше находиться в положении седа, чтобы развязать шнурки, но выносить сколь-нибудь долго возникающую при этом боль, чтобы хотя бы ослабить узлы, было выше его сил. Вытащить ногу из ботинка ему не удавалось.

А миссис Вон тем временем из-за громкости звука и бьющих по ушам басов не слышала призывов Эдуардо о помощи. Несчастный зависший садовник, вдыхая ядовитый выхлоп «линкольна», сгущавшийся в плотных и казавшихся лишенными воздуха плетениях веток, решил уже, что этот куст бирючины станет его могилой, что Эдуардо Гомес падет жертвой похоти дру-

гого человека и его, так сказать, «отвергнутой женщины» из пословицы¹¹. Умиравший садовник в полной мере чувствовал иронию своего положения: в проклятой бирючине он оказался из-за разорванных порнографических рисунков, изображающих его нанимательницу. Если бы в «линкольне» не кончился бензин, то садовник мог бы стать первой в Саутгемптоне жертвой порнографии, но, несомненно, не последней, думал Эдуардо, задыхаясь в ядовитых парах автомобильного выхлопа. В его отравленный разум пришло такое соображение: подобной смерти заслуживает Тед Коул, а не невинный садовник.

С точки зрения миссис Вон, садовник не был так уж невинен. Она слышала, как он крикнул: «Беги!» Предупредив Теда, садовник предал ее! Если бы несчастный, болтающийся вниз головой человек держал рот на замке, то Тед не получил бы фору в несколько важных секунд. Как выяснилось, Тед припустил во всю мочь еще до того, как «линкольн» появился на Джинлейн. Миссис Вон была уверена, что уложила бы Теда с такой же легкостью, с какой она уложила дорожный знак на углу Южной Мейн-стрит. Теду удалось уйти только из-за предательства ее собственного садовника!

И вот, когда в «линкольне» кончился бензин, миссис Вон, выйдя из машины (сначала захлопнув дверь, а потом снова раскрыв ее, чтобы выключить орущее радио), первым делом услышала слабые призывы Эдуардо о помощи, и сердце ее тут же ожесточилось к нему. Камушки ее двора захрустели у нее под подошвами, и тут она увидела этого предателя, который висел, запутавшись ногой в зарослях бирючины. Еще больше миссис Вон возбудилась, увидев, что Эдуардо еще не убрал эти паскудные рисунки. Помимо всего прочего, в ее ненависти к садовнику имелся совершенно иррациональный аспект: он наверняка видел ее наготу на этих рисунках. (Да и как он мог не увидеть ее.) А потому она ненавидела Эдуардо Гомеса так же, как ненавидела Эдди О'Хару, который тоже видел ее таким вот образом... выставленной напоказ.

– Пожалуйста, мадам, – умоляющим голосом обратился к ней садовник. – Если бы вы подняли лестницу и я смог бы ухватиться за нее, то, может, мне удалось бы спуститься отсюда.

– Ты! – закричала на него миссис Вон.

Она ухватила горсть камушков и швырнула их в заросли. Садовник закрыл глаза, но бирючина была такой густой, что ни один камушек не попал в него.

– Ты его предупредил! Ты подлый карлик! – завопила миссис Вон.

Она бросила еще одну горсть камней, которые тоже не принесли садовнику никакого вреда. Тот факт, что ей не удавалось никак отыгаться на беспомощном, висящем вниз головой садовнике, еще больше вывел ее из себя.

– Ты предал меня! – закричала она.

– Если бы вы убили его, то попали бы в тюрьму, – попытался вразумить ее Эдуардо.

Но она уже шагала прочь от него, и, даже вися вверх тормашками, он видел, что она направляется к дому. Ее маленькие целенаправленные шаги... ее плотно сбитые маленькие ягодицы. Она еще не успела дойти до двери, а он уже знал, что она с треском захлопнет ее за собой. Эдуардо давно уже представлял себе, как это случится; она была вспыльчивой женщиной, чемпионом по хлопанью дверями – словно громкий хлопок как-то компенсировал ей собственную миниатюрность. Садовник боялся маленьких женщин, он всегда думал, что их гнев непропорционален их размерам. Его собственная жена была крупной и утешительно-мягкой, и ее добродушие сочеталось с щедрым, незлобивым нравом.

– Убери этот хлам! И убирайся! Это твой последний день здесь! – кричала миссис Вон садовнику Эдуардо, который висел совершенно неподвижно, словно недоумение парализовало его. – Ты уволен! – добавила она.

¹¹ Имеется в виду вошедшее в пословицу выражение английского драматурга Уильяма Конгрива (1670–1729) из его популярной пьесы «Скорбящая невеста»: «Фурия в аду ничто в сравнении с отвергнутой женщиной».

– Но я не могу спуститься! – тихо отозвался он, зная даже прежде, чем начал говорить, что она, не дослушав его, захлопнет дверь.

Несмотря на растянутую мышцу брюшины, Эдуардо нашел в себе силы преодолеть боль; ему явно помогало чувство поправленной справедливости, потому что ему удалось еще раз сделать гимнастический присед из положения вниз головой и удержаться в этой мучительной позе достаточно долго, чтобы расшнуровать ботинок. Теперь его нога была свободна. Он полетел головой вниз в самую гущу зарослей, пытаясь двигать ногами и руками, и (к собственному облегчению) приземлился среди корней на все четыре точки опоры; из кустов он выполз во дворик, выплевывая изо рта веточки и листья.

Эдуардо все еще поташнивало, и он пребывал в некоем сомнамбулическом состоянии – слишком долго он дышал выхлопными газами «линкольна», а верхняя губа у него была расцарапана веткой. Он попытался было идти, но тут же снова упал на четвереньки, и в этом животном положении добрался до забитого фонтана. Забыв о кальмаровых чернилах, он сунул голову в воду. Вода оказалась грязной и пахла рыбой, и, когда садовник вытащил оттуда голову и отжал воду из волос, руки и лицо у него приобрели цвет сепии. Поднимаясь по стремянке за оставшимся наверху ботинком, Эдуардо едва сдерживал рвоту.

Потом ошарашенный человек какое-то время бесцельно бродил, прихрамывая, по дворику, – если уж он был уволен, то заниматься сбором порнографических обрывков (чего требовала миссис Вон) не имело смысла. Он считал неумным выполнять какую бы то ни было работу для женщины, которая не только уволила его, но еще и оставила умирать; тем не менее, когда он надумал уходить, обнаружилось, что «линкольн», в котором кончился бензин, блокирует выезд. Грузовичок Эдуардо, всегда стоящий не на виду (за будкой с садовым инструментом, гаражом и теплицей), не мог проехать мимо бирючины, пока там стоял «линкольн». Садовнику пришлось отсосать бензин из газонокосилки, чтобы завести «линкольн» и вернуть брошенную машину в гараж. Увы, это его деяние не осталось незамеченным миссис Вон.

Она предстала перед Эдуардо во дворике, где их разделял только фонтан. Грязная вода в фонтане с виду была что твоя мелкая поилка для птиц, в которой утонуло не меньше сотни летучих мышей. Миссис Вон держала что-то в руке (это был чек), и еле державшийся на ногах садовник настороженно смотрел на нее. Когда миссис Вон начала обходить фонтан в направлении садовника, он захромал в сторону так, чтобы фонтан оставался между ними.

– Тебе что – это не нужно? Это твой последний чек! – проговорила злобная маленькая женщина.

Эдуардо замер. Если она собиралась заплатить, то, может, ему стоит остаться и убрать эти порнографические клочки. Ведь в конечном счете уход за именем Вонов был в течение многих лет основным источником его дохода. Садовник был гордый человек, а эта маленькая сука унизила его, но в то же время он не мог не думать, что коли это его последний чек от нее, то сумма в нем должна быть внушительной.

Выставив перед собой руки, Эдуардо осторожно двинулся вокруг загаженного фонтана в направлении миссис Вон. Она позволила ему приблизиться к ней. До нее уже можно было достать рукой, когда она быстренько сложила свой чек – лодочкой – и пустила его в мутную воду. Чек поплыл по похоронного цвета фонтану, и Эдуардо пришлось зайти за ним в фонтан, что он сделал не без трепета.

– Иди порыбачь! – завизжала миссис Вон.

Едва выудив чек из воды, Эдуардо понял, что чернила смылись; он не смог прочесть, какая сумма там была написана, не мог разобрать корявую подпись миссис Вон. И еще не выйдя из пахнущей рыбой воды, он знал (даже не посмотрев на ее высокомерную удаляющуюся фигуру), что сейчас снова хлопнет дверь. Уволенный садовник отер бесполезный чек о штанину и сунул в свой бумажник; он не знал, для чего сделал это.

Эдуардо покорно вернул лестницу на ее обычное место у теплицы. Он увидел грабли, которые собирался починить, и даже на несколько секунд задумался – что ему с ними делать; он оставил грабли на верстаке в будке для садовых инструментов. После этого можно было уже отправляться домой; он уже неторопливо хромал к грузовичку, но тут увидел три больших мешка для листьев, которые он уже заполнил обрывками разорванных рисунков; по его прикидке, для оставшихся обрывков могло потребоваться еще два мешка.

Он взял первый из трех полных мешков и вытряхнул его на лужайку. Ветер быстро разнес часть обрывков, но садовника это не удовлетворило, он, хромая, прошел по кипе, пиная ее ногами, как ребенок – кипу листьев. Длинные полосы разлетелись по саду и засорили купальню для птиц. Кусты роз в задней части двора, где тропинка вела к берегу, действовали на обрывки и клочки бумаги, как магнит; лоскуты бумаги цеплялись за все, что попадалось на их пути, словно мишура – за елку.

Садовник, взяв два оставшихся мешка, похромал в сад. Первый из этих мешков он вывернул в фонтан, где масса разодранной бумаги впитывала черноватую воду, как гигантская неподвижная губка. Расправляясь с последним полным мешком, где, по случайному совпадению, оказались некоторые из наилучших (хотя и в значительной степени погубленных) изображений паха миссис Вон, Эдуардо доказал, что отнюдь не исчерпал свое воображение. Осененный свыше садовник принялся кругами ходить по дворику, держа открытый мешок над своей головой. Этот мешок напоминал сейчас воздушного змея, не желающего лететь, но бесчисленные клочки порнографии взмывали-таки в воздух – они поднимались в бирючину, из которой героический садовник извлек их немногим ранее, поднимались они и выше бирючины. Словно вознаграждая Эдуардо Гомеса за его мужество, разыгравшийся морской ветерок унес изображения грудей и вагины миссис Вон в разные концы Джин-лейн.

Позднее в саутгемптонскую полицию поступило сообщение о том, что два мальчика на велосипедах имели сомнительное удовольствие созерцать анатомические подробности тела миссис Вон, обнаруженные ими на значительном удалении от Джин-лейн – на Ферст-Нек-лейн, что свидетельствовало о силе ветра, который смог доставить туда через озеро Агавам сей конкретный крупный план соска миссис Вон и аномально увеличенное изображение ее ареолы. (Мальчики, которые были братьями, принесли клочки этого порнографического рисунка домой, где их родители обнаружили эту непристойность и вызвали полицию.)

Озеро Агавам, которое было не больше пруда, отделяло Джин-лейн от Ферст-Нек-лейн, где (в тот самый момент, когда Эдуардо выпускал на свободу остатки рисунков Теда) сам художник проводил в жизнь план соблазнения полненькой восемнадцатилетней девицы. Глори привела Теда к себе домой, чтобы познакомить его с матерью; сделала она это главным образом потому, что своей машины у девушки не было, и она должна была получить разрешение родительницы, чтобы взять семейный автомобиль.

От книжного магазина до дома Глори на Ферст-Нек-лейн было рукой подать, беда была только в том, что первые тонкие попытки обольщения студентки, предпринимаемые Тедом, несколько раз прерывались оскорбительными вопросами глупой грушевидной подружки Глори. Эффи была куда меньше, чем Глори, поклонницей «Двери в полу»; эта трагически некрасивая девица не писала свою курсовую об атавистических корнях изображенных Тедом Коулом символов страха. Хотя Эффи и была невыносимо уродливой, но всякого дерьма в ней было куда меньше, чем в Глори.

В Эффи было куда меньше дерьма, чем в самом Теде. Эта жирная девица была к тому же прозорливой – за время их короткой прогулки она успела невзлюбить знаменитого автора; и, помимо всего прочего, усугубляющееся ловеласничанье Теда Эффи воспринимала именно как ловеласничанье, а не что-либо иное. Глори же если и видела его наступление, то никакого сопротивления не оказывала.

Теда удивило, что он неожиданным образом почувствовал интерес (сексуального характера) к матери Глори. Если Глори была слишком юна и неопытна на его обычный вкус (к тому же и с весом у нее был перебор), то ее мать была старше Марион и принадлежала к тому типу женщин, которые, как правило, ничуть не привлекали Теда.

Миссис Маунтсьер была неестественно худа вследствие полной потери аппетита после недавней и совершенно неожиданной смерти ее мужа. Тед увидел перед собой женщину, которая не только явно любила своего мужа, но к тому же (и это было очевидно даже для Теда) оставалась вдовой, которую так и не отпустила скорбь. Иными словами, она принадлежала к тем женщинам, соблазнить которых было невозможно – она всякому дала бы отпор; правда, Тед Коул был отнюдь не всякий, и он не смог подавить в себе неожиданно возникшего влечения к ней.

Глори, видимо, унаследовала склонность к полноте от бабки или еще более отдаленного предка. Миссис Маунтсьер обладала классической, но призрачной красотой той же закваски, что и неподражаемая красота Марион. Если вечная скорбь Марион отвращала от нее Теда, то королевская печаль миссис Маунтсьер была для него привлекательной. Но при этом его тяга к ее дочери ничуть не уменьшилась – неожиданно выяснилось, что он хочет сразу обеих!

Большинство мужчин, оказавшись в подобной ситуации, подумали бы: «Ну и дилемма!» Но Тед мыслил только в категориях возможностей.

«Ну и возможность!» – думал Тед, позволив миссис Маунтсьер приготовить ему сэндвич (в конечном счете ведь уже пришло время ланча), и уступил настойчивости Глори, позволив ей засунуть его джинсы и мокрые туфли в сушилку.

– Они высохнут минут через пятнадцать – двадцать, – пообещала ему восемнадцатилетняя девушка. (Чтобы высушить туфли, нужно было как минимум полчаса, но он никуда не торопился.)

Тед поглощал сэндвич, сидя в халате, принадлежавшем покойному мистеру Маунтсьеру. Миссис Маунтсьер показала Теду, где находится ванная, чтобы он мог переодеться, и подала ему халат ее покойного мужа с выражением скорби, показавшимся Теду особо привлекательным.

Тед еще не пытался соблазнять вдов, не говоря уж об одновременном соблазнении матери и дочери. Лето он провел, рисуя миссис Вон. Иллюстрации к незаконченному «Шуму – словно кто-то старается не шуметь» давно лежали без движения – он едва только начал думать, что это должны быть за иллюстрации. Но вот здесь, в удобном доме на Ферст-Нек-лейн, ему явился весьма многообещающий портрет матери с дочерью – он знал, что должен попытаться нарисовать его.

Миссис Маунтсьер ничего не ела за обедом. Худоба ее лица, казавшегося фарфорово-хрупким в полуденном свете, наводила на мысль, что аппетит у нее в лучшем случае появлялся лишь изредка или что у нее трудности с пищеварением. Она изящно припудривала темные круги под глазами; как и Марион, миссис Маунтсьер могла спать лишь урывками, достигая крайнего истощения. Тед обратил внимание, что большой палец левой руки миссис Маунтсьер постоянно прикасался к обручальному кольцу, хотя сама она и не отдавала себе отчета в том, как часто делает это.

Когда Глори увидела, что ее мать делает с обручальным кольцом, она ухватила мать за руку и сжала ее. Миссис Маунтсьер посмотрела на дочь благодарным и извиняющимся взглядом, в котором промелькнула и взаимная любовь, словно письмо просунули под дверь. (На первом рисунке Тед изобразит дочь и мать – дочь будет держать руку матери.)

– Знаете, это как нельзя кстати, – начал он. – Я ищу подходящие типажи для портрета матери с дочерью – это заготовки для моей будущей книги.

– Еще одна детская книга? – спросила миссис Маунтсьер.

– Категорически да, – ответил ей Тед, – правда, я не думаю, что мои книги и на самом деле детские. Во-первых, существуют матери, которые должны их покупать, и – обычно – матери первыми и читают их вслух. Дети обычно слушают их, прежде чем научатся читать. А когда эти дети вырастают, они нередко возвращаются к моим книгам и перечитывают их.

– Именно так и случилось со мной! – сказала Глори.

Эффи, которая слушала это с надутым видом, закатила глаза.

Все, кроме Эффи, были довольны. Миссис Маунтсьер получила заверение в том, что матери имеют приоритет. Глори был сделан комплимент: она уже перестала быть ребенком – знаменитый автор признавал, что она теперь взрослая.

– И какого рода рисунки у вас в голове? – спросила миссис Маунтсьер.

– Значит, так. Для начала я хочу нарисовать вас и вашу дочь вместе, – сказал ей Тед. – Таким образом, когда я буду рисовать каждую из вас по отдельности, присутствие отсутствующего будет... некоторым образом очевидно.

– Ой, ма, как здорово! Ты хочешь? – спросила Глори. (Эффи снова закатила глаза, но Тед никогда не обращал внимания на непривлекательных особ.)

– Не знаю. Сколько на это потребуется времени? – спросила миссис Маунтсьер. – И кого из нас вы хотите рисовать первым? Я хочу сказать – по отдельности. Я хочу сказать, после того как вы нарисуете нас вместе. – (Тед, охваченный лихорадкой желания, понял, что вдова готова.)

– Когда у вас начинаются занятия? – спросил Тед у Глори.

– Числа пятого сентября, – сказала Глори.

– Третьего, – поправила ее Эффи. – И ты собиралась провести уик-энд на День труда¹² в Мене – вместе со мной, – добавила она.

– Тогда я первой буду рисовать Глори, – сказал Тед миссис Маунтсьер. – Сначала вас обеих вместе. Потом Глори одну. Потом, когда Глори вернется в колледж, – вас одну.

– Ой, не знаю, – сказала миссис Маунтсьер.

– Да что ты, ма. Это же будет так интересно! – сказала Глори.

– Ну...

Это было знаменитое Тедово бесконечное «ну».

– Что «ну»? – грубо спросила Эффи.

– Я хочу сказать, что – ну, не обязательно принимать решение сегодня, – сказал Тед миссис Маунтсьер. – Подумайте, – сказал он Глори.

Тед знал, о чем уже думает Глори. С Глори у него не будет никаких трудностей. А потом... ах, какими долгими и приятными предвидятся осень и зима! (Тед представлял себе изумительно медленное соблазнение скорбящей миссис Маунтсьер – на это могут уйти несколько месяцев, а то и год.)

Чтобы позволить и матери и дочери вместе отвезти его назад в Сагапонак, от него потребовалась немалая тактичность. Свои услуги предложила миссис Маунтсьер, но потом она поняла, что ущемляет чувства дочери, что Глори настроилась сама отвезти автора и иллюстратора домой.

– Да бога ради, Глори, вези ты, пожалуйста, – сказала миссис Маунтсьер. – Я даже не поняла, как тебе этого хочется.

Тед подумал, что если они будут ссориться, то это только помешает его плану.

– Если быть эгоистом, – сказал он, обаятельно улыбаясь Эффи, – то для меня будет большой честью, если вы все отвезете меня домой.

Хотя его обаяние не подействовало на Эффи, мать и дочь мгновенно примирились. Пока.

¹² Этот праздник отмечается в первый понедельник сентября.

Тед к тому же выступил в роли миротворца, когда они принялись решать – кому сидеть за рулем: Глори или миссис Маунтсьер.

– Лично я думаю, – сказал он, улыбаясь Глори, – что люди вашего возраста водят машины лучше, чем их родители. С другой стороны, – он повернул свою улыбку к миссис Маунтсьер, – люди вроде нас – невыносимые пассажиры. – Тед снова повернулся к Глори. – Пусть машину ведет ваша матушка, – сказал он девушке. – Это единственный способ исключить ее из числа пассажиров.

Хотя Тед, казалось, не обращает внимания на то, как Эффи закатывает глаза, на сей раз он предвосхитил ее реакцию – повернулся к несчастной уродине и сам закатил глаза, чтобы показать ей, что он все видит.

Любой, кто видел их в машине, мог подумать, что это обычная семья. Миссис Маунтсьер была за рулем рядом с лишенной прав знаменитостью на пассажирском сиденье. На заднем сиденье ехали дети. Та, которую угрозидло родиться уродиной, естественно, была мрачна и погружена в себя; вероятно, этого и следовало ожидать, потому что ее «сестренка» была в сравнении с ней красоткой. Эффи сидела за спиной Теда, уставясь в его затылок. Глори сидела, наклонясь вперед и заполняя собой пространство между двумя передними сиденьями темно-зеленого «сааба» миссис Маунтсьер. Поворачиваясь на своем месте, чтобы созерцать поразительный профиль миссис Маунтсьер, Тед мог видеть и жизнерадостную, хотя, может быть, и не ахти какую красивую дочь.

Миссис Маунтсьер была хорошим водителем – она ни разу не оторвала взгляда от дороги. Дочь же не могла оторвать глаз от Теда. Пусть день и начался так неудачно, но зато теперь он сулил прекрасные возможности! Тед бросил взгляд на часы и с удивлением увидел, что день только начался. Он будет дома еще до двух – масса времени, чтобы показать мастерскую матери и дочери, пока еще за окном светло. Когда миссис Маунтсьер миновала озеро Агавам и свернула с Дьон-роуд на Джин-лейн, Тед решил, что нельзя судить о том, какой будет день, по его началу. Тед настолько был занят визуальным сравнением матери и дочери, что совсем не смотрел на дорогу.

– А-а, так вы едете этим путем... – шепотом сказал он.

– Почему вы шепчете? – спросила его Эффи.

На Джин-лейн миссис Маунтсьер была вынуждена притормозить и двигаться с черепашной скоростью. Вся улица была закидана бумагой, висевшей и на живых изгородях. Миссис Маунтсьер вела машину, а вокруг нее кружились клочки бумаги. Один лоскут прилип к лобовому стеклу. Миссис Маунтсьер решила было остановить машину, но Тед сказал ей:

– Не останавливайтесь! Включите дворники.

– Вот вам и разговоры о трудных пассажирах... – заметила Эффи.

Но, к облегчению Теда, дворники сделали свое дело, и оскорбительный клочок улетел прочь. (Тед успел разглядеть подмышку миссис Вон – рисунок был из самого срамного ряда: она лежала на спине, закинув за голову скрещенные руки.)

– А что это такое? – спросила Глори.

– Наверно, чей-то мусор, – ответила ее мать.

– Да, – сказал Тед. – Чья-то собака залезла в мусорный бачок.

– Ужас какой, – заметила Эффи.

– Кто бы это ни сделал, его нужно оштрафовать, – сказала миссис Маунтсьер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.